Г. С. КНАБЕ

КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

Серия «Научные биографии»

Г. С. КНАБЕ

КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ

ВРЕМЯ. ЖИЗНЬ. КНИГИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

Москва 1981

К 20 Кнабе Г. С. **Корнелий Тацит. (Время. Жизнь. Книги).**— М.; Наука, 1981.— 208 с.— (Научные биографии).

Книга посвящена жизни и творчеству крупнейшего римского историка и писателя Корнелия Тацита. Давая широкую картину жизни императорского Рима I—II вв., автор анализирует сложные социальные процессы, распад прежней системы ценностей и показывает, как это отражалось в судьбе, общественном поведении и психологии конкретных людей.

5.4.1

Ответственный редактор

доктор исторических наук

И. С. СВЕНЦИЦКАЯ

К $\frac{10603-194}{054(02)-81}$ 46—81 НП.-0504010000

ПРЕДИСЛОВИЕ

Раскрывая книгу, посвященную Публию Корнелию Тациту, стóит задуматься над тем, зачем знакомиться с писателем, жившим две тысячи лет назад, тем более если созданное им — не художественный вымысел, всегда вырывающийся из плена породивших его дней, а летопись своего века, обреченная на этот плен, поскольку она связана с людьми и событиями определенной эпохи, в данном случае эпохи завершенной и далекой — ранней Римской империи?

Прошлое есть у всех. Оно связано бесконечным числом нитей с настоящим, живет в нем; без его опыта невозможно развитие ни личности, ни народа, поэтому каждый — историк он или нет — периодически вглядывается в пережитое, пытается охватить его мыслью и понять. Две опасности подстерегают того, кто за это берется: духовно обособиться от своего прошлого или поддаться его власти и раствориться в нем. В первом случае оно становится скоплением оттрепетавших фактов, а если речь идет об историке — «объектом исследования», как жизнь насекомых, движение светил, как морские приливы и отливы. Во втором случае оно заслоняет действительность, погружает человека в мир воспоминаний, исполненный призрачных, но тем более ярких и бередящих страстей — бесплодных сожалений, бесплодной ярости или элегической тоски.

Выход состоит в ясном понимании нераздельности и неслиянности человека и общества с тем, что ими пережито, и одно из самых высоких искусств на свете — искусство «расставаться со своим прошлым», как однажды выразился Карл Маркс. Занятие это требует ясности мысли, честности и мужества, и наставников в нем следует ценить. Среди таких наставников Тацит был одним из самых первых. Он пережил трудное время коренной общественной ломки, массового императорского террора, разрушения исторических ценностей римского народа. Он описал эту эпоху глубоко лично, ярко и страстно,

но никогда ее кровавое марево не застилало ему глаза, ни разу не поддался он ни утешающим сожалениям о «добрых старых днях», ни соблазну раствориться в веселом беге времени. Он смотрел, думал и не боялся думать до конца. Он заслужил, чтобы через две тысячи лет мы раскрыли книгу о нем, испытывая к нему чувство почтительной благодарности.

Есть для нее и еще одна причина. В истории культуры мало было фигур, вызывавших столь разноречивые оценки, как Тацит. В эпоху абсолютизма в нем видели идеолога монархии, учившего правителей руководствоваться только государственной необходимостью и не считаться ни с моралью, ни с интересами отдельных людей. Революционеры XVIII в. и в особенности русские декабристы, напротив, черпали в книгах Тацита ненависть к тиранам и пороку, духовную твердость в борьбе за свободу, честность и правду. И те, и другие опирались на сочинения Тацита. В них, действительно, содержалось и обоснование исторической необходимости императорской власти, и гневное осуждение императоров, их аморализма и извращенной жестокости. Но выражало это противоречие не непоследовательность мысли историка, как иногда думали и думают исследователи, а живую диалектику общественного развития. Он понял и показал, что императоры преодолели разгул страстей и дикую губительную вольницу последних лет Республики и, не стесняясь в средствах, установили в Риме порядок, что режим их был спасителен и исторически целесообразен. Но понял и выразил он в своих книгах также и нечто другое: вместе со своеволием и страстями, с разбродом и распрями ушли из государства и страстная потребность каждого гражданина участвовать в делах родины, и стремление решать их на свой лад, и преданность ее по-разному понимаемым интересам. Плюсы и минусы изжитого общественного состояния оказались неразрывно взаимосвязаны. Но для Тацита эти плюсы и минусы не исчерпывались понятием «взаимосвязи». За каждым стояли люди — живые люди, их воля и мысль, их жизнь и смерть, стремление и отчаяние, упования и кровь. Диалектику истории так трагически пережил и так ярко выразил Тацит также одним из первых. В этом — еще одна причина, почему книгу о нем сто́ит взять в руки с уважением к его духовному подвигу.

А уж читателю судить, стоит ли ее дочитывать.

Часть первая

ВРЕМЯ

Глава первая

КРИЗИС

1. Домициан. Конец I в. н. э. в Риме был до предела заполнен событиями. 13 сентября 81 г. в своем сабинском имении нестарым еще, сорокалетним человеком умер император Тит. Его младший брат, Домициан, при смерти его не присутствовал — не дождавшись ее, он поскакал в Рим, роздал солдатам-преторианцам денежные подарки и добился того, что они согласились поддержать его притязания на верховную власть. На следующий день сенаторам ничего не оставалось, как собраться в курии и скрепить словом то, что уже было решено мечом. Двадцативосьмилетний Тит Флавий Домициан стал одиннадцатым римским принцепсом, третьим — и последним — в династии Флавиев.

Правление его оказалось беспокойным. Не прошло и двух лет, как ему пришлось выступить во главе большой армии против хаттов — обширного союза германских племен, создававшего постоянную угрозу границе империи на Среднем Рейне. Поход окончился победоносно, хатты и поддерживавшие их племена были оттеснены, и на правом берегу Рейна появился постоянный обширный римский плацдарм, усеянный крепостями и огражденный целой системой оборонительных укреплений. Едва удалось замирить рейнскую границу, как ожила дунайская. Талантливый полководец и политик Децебал сумел объединить обитавшие по Нижнему Дунаю разрозненные племена своих соотечественников даков и научить их современным, перенятым у римлян способам ведения войны. В 85 г. даки по льду пересекли Дунай, вторглись в римскую провинцию Мёзию, разбили находившиеся здесь войска и убили наместника Оппия Сабина. Домициану пришлось снова собираться в поход. Он дал с перемен-

ным успехом несколько сражений, заключил с Децебалом не слишком почетный для Рима мирный договор и торжественно вернулся в столицу. Поэты славили его воинские подвиги, на Форуме была сооружена колоссальная конная статуя императора.

Обставляя свои подлинные и мнимые военные успехи с невиданной пышностью, Домициан знал, что делал: ему во что бы то ни стало нужны были слава полководца, популярность среди солдат, безоговорочная поддержка армии. Еще в 83 г. он значительно увеличил жалованье легионерам. И хаттский поход 83 г., и дакийский 89 г. (второй по счету после первого, 85 г., упомянутого выше) завершились триумфами, после которых Домициана стали официально именовать Германским и Дакийским. В курии он постоянно появлялся в одежде триумфатора. Последнее особенно показательно: союз с армией был нужен Домициану как опора в борьбе с сенатом.

Власть римских императоров на протяжении I в. становилась все более единодержавной, но даже самый властный правитель не мог быть вездесущим. Каждой провинцией должен был управлять наместник, легионом командовать легат, порядок в Риме обеспечивать магистрат. И наместники, и легаты легионов, и городские магистраты по незыблемой традиции избирались из числа сенаторов. Но сенат был древним республиканским учреждением, а императорам нужна была единодержавная власть. Поэтому любая власть и любой почет, принадлежавшие сенату, воспринимались как отнятые у государя. Большинство императоров I в., постоянно стараясь изменить это соотношение в свою пользу, в общем мирились с тем, что какая-то часть власти оставалась и у сената. Домициан чем дальше, тем меньше был склонен следовать их примеру. Осенью 88 г. против него восстали четыре легиона Верхней Германии во главе с наместником провинции Антонием Сатурнином. Домициан счел, что за Сатурнином маячил какой-то сенатский заговор, и когда восстание было подавлено, казни, неслыханные по размаху и жестокости, обрушились на сенаторов в Риме, в Германии и провинциях. Уже через несколько лет курия испытала новые удары. В 93 г. были казнены или сосланы сенаторы, не в меру увлекавшиеся стоической философией — Гельвидий Младший, Геренний Сенецион, Арулен Рустик и другие. Стоическое учение о том, что только честность есть благо и только подлость есть

ало, все же остальное не имеет никакого значения, помогало этим сенаторам упорствовать в своих оппозиционных настроениях и не обращать внимания на угрозы и преследования, сообщало им моральный авторитет и делало их влияние опасным для Домициана.

После разгрома «стоической оппозиции» в течение зимы 93/4 г. были высланы сначала из Рима, а потом и из Италии все вообще лица, занимавшиеся философией и преподававшие ее, в том числе знаменитый оратор, писатель и философ Дион Хрисостом. В начале 94 г. подверглась изгнанию группа сенаторов, проявлявших подозрительный интерес к греческим учениям об ответственности государя перед разлитым во Вселенной мировым нравственным законом,— есть основания думать, что в числе их находился и Кокцей Нерва, будущий принцепс. В 95 г. были казнены некоторые лица из ближайшего окружения Домициана, подозревавшиеся в связи с восточными культами, и в частности с христианством.

Непосредственный смысл этой политики состоял в придании власти императора самодержавного характера. К достижению этой цели Домициан стремился постоянно. Кажется, единственный и, во всяком случае, первый среди римских императоров, он был консулом 17 раз. Впервые в истории Рима он был пожизненным цензором, и притом единоличным, без коллеги, что давало ему право по собственному усмотрению исключать из сената любых неугодных ему членов и запрещать как неморальные любые неугодные ему формы общественного поведения. По всей империи в честь его возводились бесчисленные статуи и триумфальные арки.

Для достижения своей цели Домициану нужно было располагать собственной администрацией, которая, будучи независима от старой сенатской системы магистратур и состоя из людей, назначенных государем за личные заслуги и потому всем ему обязанных, обеспечила бы беспрекословное и эффективное проведение его политики на всех уровнях и во всех областях. Такая реорганизация аппарата управления предполагала насыщение его «новыми людьми», не связанными со старыми сенатскими семьями,— всадниками, выходцами из социальных низов, отпущенниками и во всех случаях — провинциалами. Этим путем шли предшественники Домициана, и кое-что делал в этом направлении и он.

В целом, однако, этот путь был не для него, он был слишком подозрителен, чтобы доверить кому-либо из помощников хотя бы частицу собственной власти и хотя бы на относительно продолжительный срок. Так, в начале 80-х годов он совершенно неожиданно казнил своего родственника — префекта претории Аррецина Клемента; происходивший из вольноотпущенников опытнейший администратор Клавдий Этруск, верой и правдой служивший восьми императорам, при которых выполнял роль как бы министра финансов, уже глубоким стариком был столь же неожиданно сослан в южную Италию. Домициан не любил и не умел доверять людям, даже самым надежным и проверенным. Он предпочитал укреплять личную власть другим путем — придавать ей сакральный характер, убеждать подданных в том, что он бог, а поскольку в Риме и Италии идея личной божественности никогда не пользовалась популярностью и казалась кощунственной, шире опираться на традиции восточных провинций, где все издавна привыкли к теократии, постепенно и осторожно вводить теократические представления в обиход культуры и в идеологию всей империи. Дом, в котором Домициан родился, он превратил в храм; ложе свое в официальном эдикте назвал pulvinar — словом, обозначавшим окутанные одеялами подушки, на которых во время религиозных церемоний помещались сакральные изображения; после посмертного обожествления предшествующих императоров династии Флавиев, Веспасиана и Тита, он оказался сыном и братом богов.

Такая политика с неизбежностью предполагала обращение к восточноэллинистическим традициям. Домициан возродил под именем Капитолийских игр основанные некогда последним Юлием-Клавдием «Неронии» — торжества-состязания, копировавшие сходные праздники древней Греции. Значение их выходило далеко за рамки искусства или спорта. Они привлекали народ из отдаленных уголков империи, здесь смешивались люди разных социальных слоев, и все они приучались видеть в римском императоре бога, принадлежавшего целой Вселенной.

Бурное правление Домициана завершилось столь же бурно. Чувствуя, что ярость принцепса может в любой момент обрушиться и на них, его жена и приближенные составили заговор. В сентябре 96 г. после ряда драматических перипетий Домициан был убит. Его место в тот же день занял престарелый сенатор Кокцей Нерва. Ди-

настия Флавиев кончилась. Начиналось столетнее правление императоров Антонинов.

2. Рубеж веков. Народ, по выражению одного из свидетелей событий, «снес равнодушно» падение последнего Флавия[1]. Поволновались, но вскоре вернулись к дисциплине легионы. Больше всего хлопот доставили новым властям преторианцы, которые взялись за оружие, осадили дворец, уничтожили главных участников заговора. Ульпий Траян, полководец, командовавший легионами Верхней Германии, усыновленный Нервой и вскоре сменивший его на престоле, сумел справиться и с ними. Порядок восстановился почти тотчас же, и жизнь, казалось, потекла по прежнему руслу. Однако люди, причастные к управлению империей, и самые проницательные среди мыслителей, историков, писателей сразу почувствовали, что они пережили нечто большее, чем обычную смену одного властителя другим. Кроме династии, кончилось что-то еще — пусть не всегда уловимое и не во всем поддающееся определению. Эпоха, которая ушла с Домицианом, на глазах становилась особым, еще памятным, но уже завершенным периодом истории. Именно так, как важный перелом в жизни государства, восприняли переход от Флавиев к Антонинам римские историки — Тацит и Светоний кончают свое повествование Домицианом, Аммиан Марцеллин начинает с Траяна, «Писатели истории императорской» — с Адриана.

Нерва прекратил широкий антисенатский террор, ознаменовавший последние годы правления Домициана. Едва вступив на престол, он дал клятвенное обязательство не подвергать сенаторов смертной казни, а сосланных ранее вернул в Рим. Непосредственной опорой императорской власти в Риме были преторианцы — привилегированный корпус, насчитывавший в разные периоды от 10 до 16 тыс. солдат, расположенный непосредственно в городе. Они играли роль почетного эскорта императоров, несли охрану их дворцов, выполняли их поручения, в том числе связанные с уничтожением неугодных лиц. Подобное положение приводило к тому, что подчас и сами принцепсы попадали в зависимость от преторианцев, вынуждены были откупаться от них денежными подарками, искать их одобрения при восшествии на престол, терпеть, что они становились арбитрами в их отношениях с сенатом. Нерва устранил преторианцев из своих отношений с сенатом (чем фактически и был вызван их бунт

осенью 97 г.), а Траян демонстративно и во всеуслышание заявил, что смысл их деятельности — в соблюдении и защите законности, а не в нарушении ее и не в террористических эксцессах.

Стоическая философия перестает быть гонимой идеологией сенатской оппозиции и становится умонастроением общества. Изгнанию философов при Домициане предшествовало изгнание их в 70-е годы при его отце. Занятие философией фигурировало и при Нероне, и при Домициане в числе обвинений, на основе которых сенатор мог быть осужден или убит. Отношения между принцепсами и философами были резко враждебны: один из них, Музоний Руф, был при Нероне сослан в каторжные работы, другой осужденный философ, киник Деметрий, встретив на дороге Веспасиана, по словам современника, «облаял его, как собака»[2], третий, Аполлоний из Тианы, подвергся при Домициане суду за связь с антиимператорским заговором. Нерва вернул философов из ссылки, а Траян охотно слушал размышления такого возвращенного изгнанника, Диона Хрисостома, о природе императорской власти и обязанностях правителя. В 20-е и 30-е годы II в. всеобщим успехом пользовались публичные лекции по стоической философии бывшего раба Эпиктета, а в 50-е и 60-е годы в настоящей исповеди философа-стоика — книге «Наедине с собой» — излил свою душу и сам император Марк Аврелий. Размышления об ответственности человека перед нравственным долгом перестали быть государственным преступлением.

На рубеже I и II вв. утрачивают свое былое положение или прекращают существование семьи, десятилетиями господствовавшие при дворе и задававшие тон в обществе,— Кокцеи, Нервы, Ацилии Глабрионы, Сальвидиены Орфиты; исчезают многие стоявшие у власти люди, прежде всего знаменитые delatores — доносчики. Вибий Крисп, оратор, известный хищной веселостью своего красноречия, и автор доносов, прославившийся огромным состоянием, которое они ему принесли, умер в начале 90-х годов. Слепой сенатор Катулл Мессалин, по словам современника, «даже в наш век выдающийся изверг»[3], не решился пережить Домициана. Адвокат и сенатор Аквилий Регул, в начале своей карьеры получивший за донос на сенаторов Орфита и Красса 7 миллионов сестерциев и впоследствии ставший знаменитым политическим

и судебным оратором, исчез с политической арены вскоре после прихода к власти Антонинов.

Общая смена людей в руководстве была очень значительной. За время правления трех Флавиев и двух первых Антонинов нам известны 38 членов императорского Совета. Из них переходят от одного принцепса к другому в пределах Флавианской династии 11, от Флавиев к Антонинам — 4. Две трети не преодолели рубеж конца века.

Подобно тому как сменилось поколение государственных деятелей, сменилось в 90-е годы и поколение писателей. Создатели самых известных эпических поэм этой поры ушли из жизни в течение нескольких лет: Папиний Стаций около 96 г., Валерий Флакк несколькими годами раньше, Силий Италик в 103 г. Главный представитель официального флавианского историописания, Иосиф Флавий, скончался в 95 г., первый из «профессоров красноречия», Марк Фабий Квинтилиан,— в 96 г. Скабрезные эпиграммы Марциала были так же органичны в литературе ушедшей эпохи, как эпос Силия; в Риме Антонинов Марциал не ужился, вскоре после 96 г. уехал на родину и растворился в своей испанской глуши. Создается впечатление, что целая литература «не решилась пережить Домициана». Зато после его смерти сразу решилась выступить другая. Тациту в 96 г. было почти сорок лет, но к литературной деятельности он приступил лишь с 97 г.; Плиний родился в 62 г., но стал публиковать свои главные произведения тоже с 97 г.; Ювенал при Домициане был известен как декламатор чужих стихов, писать собственные он начал около 98 г.; Светоний Транквилл провел молодость при Домициане, но рассказал о том, что видел, при Адриане.

Искусство второй половины I в. и искусство времени первых Антонинов —это не только разные люди, но и разные эстетические системы. В пределах первой исходным ценностным представлением являлась яркая энергия и тяжелая беспокойная мощь, монументальность, переходящая в пышность, и пышность, переходящая в неестественность. Примерно с середины века особенно грандиозными, фантастическими и подчеркнуто небытовыми, неестественными становятся строительство, архитектура, монументальная скульптура. Законченный к 52 г. Клавдиев водопровод имел 72 км длины и давал ежедневно 200 тыс. кубометров воды. Дворцовый комплекс Нерона занимал

в самом центре Рима около 80 га и включал озеро, луга и виллы — противоестественная, по выражению Марциала, «деревня в городе» [4]; стоявшая в нем статуя Нерона возвышалась на 30 с лишним метров. При Флавиях этот недостроенный комплекс был разобран и на его месте возведен Колоссеум (он же Колизей) — четырехэтажный амфитеатр, по одним данным, на 50, по другим — на 80 тыс. зрителей. Домициан провел земляные и строительные работы такого масштаба, что они изменили естественный размер и форму Палатинского холма в центре Рима. Конную статую этого императора на Форуме современники называли Колоссом.

Культ неестественно грандиозного легко превращался в культ неестественного самого по себе. Во второй половине века критерием эстетической ценности все отчетливее становится несходство с реальной повседневной действительностью и даже противоположность ей. «Мы с восхищением признаем подлинно изящным лишь то, что так или иначе извращено»,— сетовал Квинтилиан [5]. Вкус к неестественному распространился теперь на самые разные стороны жизни, стал подлинным знамением времени. В прикладном искусстве красивыми начали считать материалы, обработанные до полной утраты своих естественных цвета, формы, плотности. В кулинарии свинина ценилась, когда она после приготовления оказывалась похожей на рыбу, а окорок — на голубя. Художественный эффект помпейской живописи так называемого четвертого стиля, относящегося к 60—70-м годам, строился на том, чтобы создать в замкнутом объеме комнаты ощущение пространственной бесконечности, а архитектурные мотивы, заполнявшие плоскость стены, сплетались в фантастические сюиты, где лестницы, колонны, портики изображались в положениях, с точки зрения их естественной жизненной функции заведомо немыслимых.

Эстетическая система, распространяющаяся в Риме с начала II в., носит обычно название «второго классицизма» или «неоклассицизма» и резко противоположна только что описанной. Ее исходные представления — спокойствие, чистота, соразмерная ясность частей и отношений между ними. Рядом с древним центром Вечного города — Римским форумом — с самого начала принципата стал расти ряд императорских форумов. Они строились в разное время, непохожие друг на друга, но нет среди них более яркого контраста, чем так называемый Переход-

ный форум и форум Траяна. Первый отражал градостроительную эстетику флавианской поры. Относительно тесный (около 120 м длины на 60 м ширины), он погребен под не пропорциональными его размерам со всех сторон нависающими карнизами; ничего, кроме храма, закрывавшего почти всю его узкую северо-восточную стену, на нем не было. Ощущение тяжелой и страшноватой монументальности, которое он должен был вызывать, хорошо передано на изображающих его развалины гравюрах Пиранези.

Вплотную к нему расположенный форум Траяна был не только сам по себе просторен (280 на 120 м), но занимавшие его строения — базилика, две библиотеки, рынок, храм — размещались так, что своим упорядоченным симметричным многообразием усиливали это впечатление. Выступы, нарушавшие протяженность стен, были не квадратными, крепостного типа, а полуциркульными и выдавались не внутрь форума, а наружу. Спокойную и уравновешенную центрально-симметричную композицию всего сооружения подчеркивала возвышавшаяся в середине его колонна, призванная быть одновременно подножием венчавшей ее статуи Траяна и монументом его дакийским победам. Назначение упоминавшегося выше Колосса Домициана было точно таким же, но Колосс был изображением бога, колонна — памятником полководцу; эстетическую программу Колосса (он не сохранился, но мы хорошо представляем его себе по подробным описаниям современников) составляли символика и аллегория, эстетическую программу колонны — реализм; планировавшееся впечатление — в одном случае величие императора, в другом — организованной силы Рима.

Главное состояло, однако, в том, что между I и II вв. в Риме обнаруживался не только разрыв — не менее отчетливо между ними выявлялась и преемственность. В начале II в. император Адриан отдал земли, которые завоевали его предшественники в Месопотамии, точно так же как в конце I в. Домициан отказался от уже завоеванных районов Британии. Обе эти меры были вызваны одними и теми же постоянными факторами, действовавшими неизменно и неуклонно со времен Августа: экономика Рима не требовала больше массового захвата новых рабов, а потому и новых походов; империя достигла предельных размеров, и дальнейший ее рост ставил под угрозу сам принцип управления из единого центра; про-

должение завоеваний повлекло бы за собой еще большее усиление роли армии и ее влияния, а это создавало бы постоянную угрозу центральной власти; между Римом и его главными противниками, германцами и парфянами, сложилось определенное равновесие сил, нарушать которое было чрезвычайно опасно. Политика укрепления границ и обороны империи была задана объективно и не зависела ни от времени, ни от личных особенностей государей — талантливый старый полководец Тиберий, молодой, трусливый, изнеженный Домициан, неспособный передвигаться без носилок, и неутомимый труженик Адриан, дважды обошедший пешком всю империю, проводили ее с равной последовательностью.

Такими же объективно заданными были и другие кардинальные факторы римской истории в этот период. Государство состояло из провинций, и поддержание в них порядка, осуществление судопроизводства, сбор налогов, строительство городов и дорог составляли весь смысл существования империи. Она и выполняла эти свои функции неизменно и последовательно и в I, и во II вв. Главными фигурами новой, внесенатской администрации были прокураторы — доверенные лица принцепса, ведавшие по его поручению сбором налогов в императорскую казну в каждой данной провинции, а иногда и всей провинцией в целом. При Августе их было 25, при Нероне 45, при Домициане 62, при Траяне 80. На протяжении всего периода идет консолидация и унификация империи, а потом и стирание различий между римлянами и провинциалами: со времени Веспасиана все шире распространяются города, являющиеся одновременно и колонией римских граждан, и центром местного племени. Во II в. ритор Элий Аристид скажет: «О римляне! В вашей империи, которая охватывает всю обитаемую землю, вы признали римским гражданином каждого, кто выделялся талантом, мужеством, влиянием, предоставив ему как бы право на родство с вами» [6]; знаменитым эдиктом Каракаллы в 212 г. римскими гражданами будут признаны все жители империи.

Провинциализация империи сказывалась не только в сближении римлян и населения покоренных стран, но и в провинциализации сената. При Веспасиане 16,8% всех сенаторов, чье происхождение нам известно, составляли провинциалы, а 83,2% — италики; при Домициане их стало соответственно 23,4 и 76,6%, при Траяне 34,2 и

65,8%, при Адриане 43,6 и 56,4%. Коренных потомственных римлян в сенате фактически не осталось.

Конфликт между новыми, реальными условиями управления империей и сохранявшими свое официальное значение старыми юридическими нормами неизменно углублялся. Соответственно и императоры все меньше опирались на закон и все больше на военную силу и собственное решение. На протяжении I и II вв. принцепс постепенно освобождался от власти законов и неуклонно превращался в абсолютного монарха. Уже в 48 г. до н. э. Юлий Цезарь полагал, что «люди должны считать слова его законом» [7]; Калигула думал, что ему «разрешено делать все со всеми» [8]; Нерон, после того как множество его преступлений осталось безнаказанным, сказал, что, по-видимому, «ни один принцепс не знал всей безграничности своей власти» [9]; Плиний в своем «Панегирике» давал понять, что Траян составляет исключение, общее же и обычное состояние власти выражается формулой «государь выше законов» [10]; столетием позже это положение стало общепризнанным и получило классическую формулировку в сборнике положений римского права — «Дигестах»: «решение принцепса приобретает силу закона» [11].

Все сказанное приводит к странному выводу. Получается, что переход от времени Нерона и Флавиев к эре Антонинов, если рассматривать самые общие закономерности и магистральные тенденции социального, государственного, политического развития, был прямым и плавным. И он же предстает как слом и разрыв, если вдуматься в мысли и чувства переживших его людей, проникнуть в их страсти, ощутить их горести и радости. На чем основано это противоречие и как оно разрешается?

Исторические закономерности, как известно, носят объективный характер и прокладывают себе путь независимо от субъективных пожеланий того или иного человека. Отсюда не следует, однако, что такая закономерность — автоматически действующая абстрактная сила. «В истории общества,— писал Ф. Энгельс,— действуют люди, одаренные сознанием, поступающие обдуманно или под влиянием страсти, стремящиеся к определенным целям, здесь ничто не делается без сознательного намерения, без желаемой цели» [12]. История непосредственно реализуется в людях, в их труде и борьбе, их взглядах и поступках, в передаче этими конкретными живыми

людьми от поколения к поколению накопленных материальных ценностей и духовного опыта. Линии связи и размежевания людей в обществе отражают его объективную социально-классовую структуру, но в повседневном общественном поведении идеология никогда не отделена от психологии, логика от эмоции, рациональное сознание от глубинных пластов личности, и чем более бурной, чем более переломной является эпоха, тем большей активности она требует от данных групп населения, тем крепче и очевидней эта взаимосвязь. Разум истории — не достояние внеличных сил, он не вне нас и не изливает на нас свой холодный свет из заоблачных высей, он — в «сознании, воле, страсти, фантазии десятков миллионов» [13].

Соответственно и исторические закономерности воплощены в столкновениях этих конкретных живых людей, их страстей, убеждений и интересов, их привязанностей и антипатий, а их сознание и страсть, воля и фантазия, любовь и ненависть, направленные на достижение общественной цели и преломленные в конкретной, исторически и социально определенной человеческой судьбе, реализуются в характерных для данного времени общественно значимых типах личности. Каждый такой тип представляет собой конкретную форму, в которой осуществляется взаимодействие устойчивых объективных факторов исторического развития и повседневного общественного поведения: он обусловлен в конечном счете социально-классовой принадлежностью, он связан с идейно-политической позицией, но прямо и непосредственно и та и другая выражаются в общественных реакциях, в привязанностях и отвращениях, вкусах и привычках, т. е. в типе человека.

Если не пытаться его игнорировать и вглядеться в историю такую, какой она нам непосредственно дана, многие закономерности, представляющиеся столь гладкими и правильными, предстают в ином свете. Становится видно не только, что они *есть*, но и *как* они прокладывают себе путь сквозь победы и гибель, стремления и разочарования, конфликты и драмы людей и поколений. Нам предстоит вглядеться в одну из таких драм.

3. Сенат при Нероне и Флавиях. Римский сенат второй половины I в. н. э. предстает в источниках как «арена взаимных нападок и раздоров» [14], где «каждый за себя, с нестройным и беспорядочным криком, привлекал к ответу своих недругов и добивался их нака-

зания»[15]. Борьба носила крайне ожесточенный характер и обычно оканчивалась политической или физической смертью побежденного. Она была настолько упорной и длительной, что современники говорили о подлинном разделении сената, при котором «на одной стороне было состоявшее из честных людей большинство, на другой — располагающее властью меньшинство»[16].

Источники не подтверждают представления, будто люди «всевластного меньшинства» — это сторонники принципата, а люди «большинства» — его противники. И те и другие проходят обычно всю лестницу сенатских магистратур, командуют армиями, управляют провинциями, и те и другие гибнут, обвиненные в участии в антиимператорских заговорах — как теоретик и лидер «меньшинства» Эприй Марцелл, как вождь и выразитель интересов «большинства» Гельвидий Приск, как друг сенаторов «большинства» и наиболее видный идеолог императорского самодержавия Анней Сенека. Разумеется, были вопросы, по которым расхождение обеих групп обнаруживалось довольно четко (порядок престолонаследования, например, или участие сената в определении финансовой политики), но в целом данные источников вообще и в частности по отдельным людям — их принято называть «просопографическими» — показывают, что противоположность меньшинства и большинства сената в эпоху Нерона и Флавиев трудно свести к одному лишь противопоставлению политических лозунгов или социальных программ. Непосредственно люди большинства и люди меньшинства выступают в источниках как два резко различных типа личности, воплощающих — что прежде всего бросается в глаза — два противоположных вида нравственного сознания, два различных эмоциональных подхода к действительности, две взаимоисключающие шкалы духовных ценностей.

Социально-психологический тип сенаторов меньшинства лучше всего определяется теми тремя словами, которыми Тацит в «Истории» характеризовал всесильного временщика императора Гальбы — Тита Виния: audax, callidus, promptus, или, в очень приблизительном русском переводе: «наглый, горячий, рьяный»[17].

Promptus имеет ряд значений, которые, однако, все производны от исходного представления о внутренней энергии, проявляющейся в немедленной реакции делом или словом на каждый импульс. В гражданской войне

69 г., например, важную роль сыграл сенатор Антоний Прим, командовавший с конца 68 г. расквартированным в Паннонии VII легионом. К началу 70 г. он смог стать полновластным господином в сенате и во всем Риме прежде всего благодаря своей неуемной энергии, постоянно сжигавшей его жажде деятельности, готовности в любом положении бороться, и всегда до победы. При Нероне алчность доводит его до преступления и его изгоняют из курии; стоило возникнуть гальбанскому движению — Антоний уже на стороне нового императора, уже командует у него легионом, возвращен в сенаторское сословие, но, снедаемый честолюбием, стремится выше и тут же предлагает свои услуги Отону, а отвергнутый им, возглавляет восстание паннонских легионов, которые фактически и привели к власти династию Флавиев. Кампания, проведенная Антонием осенью 69 г., беспримерна даже в истории римского военного искусства, прежде всего из-за поведения полководца, выработавшего и осуществившего блестящий план действий, сумевшего разгромить во много раз превосходящую армию Вителлия и лично как простой солдат участвовавшего в боях.

Энергия, талант и работоспособность отличают сенаторов меньшинства и как магистратов. Отношение Тацита к этим людям было сложным, но в конечном счете отрицательным; тем более показательно, что почти о каждом из них — о Тите Винии, об Отоне, Муциане, даже о Луции Вителлии (брате императора) — он отзывается как о прекрасном администраторе. В глазах римлян талант человека к государственной деятельности был неотделим от его одаренности и успехов в области красноречия: среди десяти крупнейших ораторов Домицианова времени восемь относились к сенатскому меньшинству [18]; к ним надо добавить сошедших с политической арены еще при Веспасиане Эприя Марцелла, Лициния Муциана и Антония Прима — все трое входили в состав меньшинства, и все трое были выдающимися ораторами.

Помимо энергии и броской талантливости, слово promptus предполагает быстроту реакции в опасный момент. Такие моменты возникали в жизни сенаторов меньшинства всякий раз, когда нетерпеливое стремление к власти, алчность и артистическое увлечение риском ради риска ставили их на грань катастрофы. Коллега императора Гальбы по консульству на 69 г. Тит Виний в молодости сидел в тюрьме, дважды попадал в опалу, из

каждой такой переделки выходил с повышением и погиб, скорее всего, по недоразумению. Сенатор Фабриций Вейентон любил играть с огнем, издеваясь над Нероном, другом которого числился; иным это стоило жизни, Вейентону — ссылки, создавшей ему ореол жертвы тирании; когда Нерона не стало, он ловко использовал эту репутацию и при Флавиях вновь вошел в ряды «всевластного меньшинства». После убийства Домициана многие его приближенные оказались не у дел, но опять-таки не Вейентон, при Нерве еще умноживший свое могущество, несмотря на откровенную ненависть к нему друзей императора.

Callidus означает у Тацита тщеславный, темпераментный, горячий, несдержанный, неразборчивый в средствах. Хищное честолюбие, алчность, плотоядная любовь к жизни, готовность на все ради удовлетворения своих страстей и вожделений — такая же характерная черта сенаторов меньшинства, как их талант, энергия и изворотливость.

В массе то были люди, по выражению современника, «алчности неизмеримой» [19]. Тит Виний оставил своим наследникам столь фантастические суммы, что завещание его было признано недействительным. Вибий Крисп был богаче чуть ли не всех своих современников, и, во всяком случае, богаче императора Августа. Муциан мог в 69 г. из личных средств покрывать расходы на гражданскую войну. Для них характерно не столько богатство (богачи были и среди людей сенатского большинства), сколько методы его приобретения — вымогательство завещаний, баснословные гонорары (а фактически взятки) за судебное заступничество, в военное время — обыкновенный грабеж и в любое время — доносы [20]. Жажда почестей была в них еще сильнее, чем жажда денег. Римские историки, писавшие об этом времени, рассказывают о неутолимом честолюбии Муциана, о столь же ненасытном, сколь бессмысленном, тщеславии Антония Прима. Эприй Марцелл на протяжении нескольких лет управлял богатейшей провинцией — Азией, стал во второй раз консулом и был введен в число патрициев, но ему и этого было мало — он стремился еще выше, составил заговор против Веспасиана и погиб.

Деньги и почести влекли их прежде всего как средство урвать у жизни возможно больше чувственных наслаждений. Древние авторы в один голос говорят о «не-

утолимых вожделениях» Отона[21]; из двух временщиков Вителлия один, Валент, по словам Тацита, «стремился к противоестественным наслаждениям»[22], другой, Цецина, «растратил в оргиях все свои силы»[23]. Пришедший им на смену Лициний Муциан был из «других людей, но с теми же нравами»[24].

Жизнелюбие, столь характерное для представителей сенатского меньшинства, утверждало в человеке способность брать от действительности все радости и блага, которые она может дать *здесь* и *сейчас*. Упоение настоящим, которое уже в силу того, что оно настоящее, т. е. сейчас, *во мне* текущая живая жизнь, неизмеримо выше и ценнее любого, пусть самого героического прошлого,— одна из важнейших черт людей меньшинства. Эприю Марцеллу принадлежало теоретическое и психологическое обоснование подобного отношения к действительности. В 70 г., во время одного из самых острых его столкновений с лидером стоической оппозиции в сенате Гельвидием Приском, Марцелл сказал: «Я хорошо знаю, в какое время живем мы и какое государство создали наши отцы и деды. Древностью должно восхищаться, но сообразовываться приходится с нынешними обстоятельствами»[25]. Марциал знал, что делал, когда именно Аквилию Регулу — доносчику, талантливому оратору и вымогателю завещаний — посвятил эпиграмму, осуждающую ревнителей старины, не ценящих все величие современности; Вергилий однажды гордо назвал римлян: «одетое тогами племя», Цецина же разговаривал с облаченными в тоги магистратами одетый как варвар — в штанах и в коротком полосатом плаще; сын консулярия Пальфурий Сура, издеваясь над традиционными римскими представлениями о приличном и допустимом, публично выступал как атлет и перед тысячами зрителей цирка боролся с женщиной.

Audax. По своему общему смыслу слово это означает неуважение к исторически сложившемуся и освященному временем строю жизни. Audacia была присуща людям меньшинства даже в повседневных бытовых проявлениях, в которых она граничила с обыкновенной наглостью. Тит Виний украл на пиру у императора драгоценный кубок. Вибий Крисп говорил двусмысленные дерзости о Домициане, сидя перед его дверью и принимая его посетителей. Отон вступил в связь с Поппеей, когда ей предстояло стать женой Нерона. Временщики Вителлия Фабий Ва-

лент и Цецина Алиен на глазах принцепса захватывали его богатства. Яростные противники традиционных норм общественной жизни и тех, кто оставался им верен, сенаторы меньшинства не отделяли эту личную темпераментную наглость от своей общественной позиции. При Нероне, например, Аквилий Регул погубил своими доносами аристократа Марка Лициния Красса Фруги, а во время восстания Отона нанял убийц, чтобы они принесли ему голову Пизона Лициниана. Лициниан только что стал наследником и соправителем Гальбы, так что действия Регула — неронианца и, следовательно, врага Гальбы — были выражением его политической позиции, но Лициниан был братом Красса, и, добиваясь его смерти, Регул просто избавлялся от угрозы возмездия. Когда Лициниан был убит и Регулу принесли его голову, он, по рассказам, впился в нее зубами — жест, в котором политическая страсть, бешеный темперамент и нарочитая audacia сплелись в один клубок. Этого мало. Когда вдова Пизона Серания тяжело заболела, Регул явился к ней, чтобы добиться включения своего имени в список ее наследников. Та же сотканная из личных и политических мотивов audacia отличает поведение Отона, поднявшего руку на своего законного императора Гальбу, или Муциана, который, будучи частным лицом, вопреки всем обычаям, обратился с письмом к сенату.

Общественное и частное поведение этих людей, специфические черты их личности, весь их облик шли вразрез с основанным на исторической традиции, официально идеализированным консервативным строем римской жизни: римское общество было строго сословным — многие же из них пробивались в высшие сферы из глухих социальных низов; главным органом государственной власти был и номинально оставался сенат — они его презирали и призывали к ликвидации всего сенатского сословия; «стремиться к обогащению считается недостойным сенатора»,— писал Тит Ливий [26], и императоры с их законами против роскоши старались сохранить за этим утверждением роль определенной моральной нормы — люди меньшинства видели в обогащении весь смысл своей жизни.

Большинство римского сената — это сотни людей, о которых мы не знаем ничего, обычно даже имен. О них, однако, можно судить по тем относительно хорошо нам известным людям, которые представляли так называемую

сенатскую оппозицию, потому хотя бы, что основное требование оппозиционеров состояло в уважении принцепсами привилегий сената и его роли в управлении государством; императоры многократно шли навстречу этим настояниям, стремясь обеспечить себе поддержку сенаторов и доказывая тем самым, что требования оппозиции выражали интересы сенатского большинства. Идеологическая и нравственно-психологическая система, к которой эти люди принадлежали, определяется понятиями mos maiorum, pietas, virtus, означавшими соответственно верность заветам предков, верность общественному долгу, гражданскую и военную доблесть.

Mos maiorum, т. е. привычка видеть в «нравах предков», в преданности традиции и старинным установлениям высший критерий общественной морали, характеризует римскую культуру с самых давних времен. Приверженность многих людей большинства этому принципу очевидна. Сенатор Тразея Пет отстаивает в сенате верность древним обычаям; сенатор Кассий Лонгин старается восстановить во вверенных ему войсках «древнюю дисциплину» [27]; сенатора большинства, а впоследствии императора Сервия Гальбу сгубили «излишняя суровость и несгибаемая, в духе предков, твердость характера, ценить которые мы уже не умеем» [28].

Классическим воплощением преданности «нравам предков» был, например, сенатор Антистий Ветр. Сам он принадлежал к плебейской семье, выдвинувшейся в конце Республики, и через дочь породнился с патрициями Клавдиями — его зятем стал Рубеллий Плавт, потомок Октавиана Августа. За свою знатность Плавт в 60 г. был выслан в Азию, а в 62 г. Нерон отправил отряд солдат, которые должны были его там убить. Ветр написал зятю письмо, в котором толкал его на беспрецедентный в истории империи шаг — уничтожить солдат, поднять Восток, сопротивляться до конца. Аргументы его были целиком выдержаны в традициях древней римской доблести. Плавт тестя не послушался и дал себя зарезать, но через три года Ветру самому предстояло доказать, что он способен не только давать советы, жить, но и умереть more maiorum. Памятуя о древнем принципе: недопустимо вступать с рабом, настоящим или бывшим, в равные отношения, он не стал защищаться от обвинений, которые предъявил ему в 65 г. его отпущенник, удалился в свое поместье и покончил с собой.

Самоубийство его выглядело как величественное действо во вкусе предков — всей семьей, с раздачей имущества рабам и клиентам, на высоком нравственно-эстетическом уровне, наподобие самоубийства Сенеки или Тразеи Пета и в резком контрасте с оттягиваемой до последнего мгновения, трусливой и яростной вместе смертью Нерона или Эприя Марцелла.

В поведении сенаторов большинства, как показывает последний пример, ясно чувствуется оттенок стилизации. Главным было все же не прошлое, а настоящее. Нежелание Ветра тягаться со своим отпущенником приобретало особый смысл в эпоху, когда, как в 48 г., сенат присваивал знаки отличия отпущеннику Клавдия Нарциссу, или, как в 67 г., когда Нерон при отъезде в Грецию поручил своему отпущеннику управление империей. Стремление отличаться в своем поведении от окружающих, не следовать привычным нормам — важный элемент этики сенаторов большинства.

Pietas составляла ту часть их мировоззрения, в которой этот элемент проявлялся еще яснее. Как и верность «нравам предков», pietas — одна из традиционных основ римской морали. Означая добровольное и спокойное подчинение религиозному, государственному и семейному долгу, уважение к обществу и его устоям, для сенатора I в. она практически выражалась в неуклонном выполнении обязанностей перед воплощавшим это государство принцепсом. Последовательнее многих вел себя в этом отношении, например, сенатор Марий Цельз. Уроженец Нарбонской Галлии, отличавшийся упорным провинциальным консерватизмом, он входил в окружение убитого Нероном полководца Корбулона и славил последних республиканцев как борцов за свободу римлян. Видя в принципате форму римского государства, он старался служить не лицу, а делу, до самого конца оставался верен Гальбе и никогда от него не отрекался. Поскольку, однако, после смерти Гальбы в 69 г. верховную власть представлял сменивший его на престоле Отон, Цельз соглашается войти в число его советников и полководцев; он до конца сражается с вителлианцами, а после их победы и гибели Отона, выполняя долг pietas по отношению к покойному императору, своему положению командующего и своим солдатам, отправляется в лагерь победителей и, рискуя жизнью, добивается бескровного исхода дела. Последующим императорам он

служил с той же непоколебимой верностью и был консулом при Вителлии и наместником Сирии при Веспасиане.

В структуре понятия pietas полностью раскрывается отмеченная выше особенность нравственного мировоззрения сенаторов большинства. По самому своему смыслу оно предполагало отказ от личных критериев истины и добра и признание таковыми господствующей общественной практики. Но в данную эпоху эта практика характеризуется растущим распадом патриархальных связей, невиданным обострением социальных противоречий, а потому и забвением норм, ориентированных на целостные интересы общества и государства. В этих условиях следование pietas из формы растворения в общественной практике становится формой противостояния ей, из верности коллективной эмпирии — верностью коллективной норме, которую *я* осознал и за которую *я* лично ответствен. Pietas Цельза в принципе означала уважение к государству и обществу, а потому должна была обеспечить гармонию его поведения с поведением окружающих и действительностью в целом, но в реальных условиях социальных противоречий и игры своекорыстных интересов она превращалась в назидание и вызов и порождала дружную ненависть к нему и в окружении принцепса, и у солдат. Когда Гельвидий Приск подобрал и похоронил тело Гальбы, убитого преторианцами Отона, это было проявлением pietas, т. е. актом нормальным и традиционным. Но в этот же день все коллеги Приска устремились поздравлять Отона с победой, а 120 человек подали письменные заявления, где говорили о своей причастности к падению Гальбы и требовали за это награды. Из «нормальной и традиционной» pietas Гельвидия превращалась в отрицание господствующего сервилизма, в акт утверждения личной моральной ответственности.

Virtus, изначально входившая в число тех же традиционных римских добродетелей, требовавших отречения от себя во имя блага общины, в эпоху Нерона и Флавиев приобретает иное значение. В надписи, в которой Август подводил итог своей деятельности, он еще ставил virtus на первое место в списке вызывавших у него особую гордость собственных достоинств. Когда почти век спустя Плиний Младший характеризовал в «Панегирике» достоинства Траяна, он перечислил 16 его положительных свойств, но для virtus среди них места не нашлось, хотя

именно при характеристике профессионального воина Траяна оно, казалось, было бы особенно уместным. Рассказывая в «Истории» о боевых подвигах римских солдат, Тацит не употребляет слово virtus там, где по контексту оно было бы наиболее естественно, и в то же время пользуется им, характеризуя поведение людей, стоически противостоящих жизненной рутине, привычной подлости, идущих против течения и всегда до конца. Плиний, отказавшийся от этого слова при описании императора и солдата Траяна, пользуется им для характеристики женщины, вдовы казненного сенатора Гельвидия — Фаннии, также подвергшейся преследованиям Домициана, но сумевшей не сдаться, не раствориться в общем сервилизме, сохранить и увезти в изгнание биографию своего мужа, которую сенат постановил сжечь. Из добродетели служения государству virtus становится при Нероне и Флавиях добродетелью противостояния непосредственной практике этого государства. В ней, таким образом, возникало определенное противоречие, понять которое можно, вглядевшись и вдумавшись в поведение едва ли не самого популярного из людей сенатского большинства — Публия Клодия Тразеи Пета.

Современники называли его virtus ipsa — «сама доблесть», и поэтому именно на его примере становится ясно, какой круг представлений связывался для них с этим понятием. Тразея был почитателем «нравов предков», консерватором в политике и в жизни. Когда сенат был фактически оттеснен от решения важных государственных вопросов и чрезмерное внимание к его деятельности становилось поэтому дурным тоном и бестактностью по отношению к принцепсу, Тразея не пропускал ни одного заседания и принимал активное участие в выработке даже самых незначительных решений; он требовал восстановления в провинциях стародедовского режима проконсульского произвола и террора, осуждал новомодную пышность, с которой обставлялись зрелища и празднества. Нет, однако, никаких оснований утверждать, будто именно этот консерватизм вызывал ненависть к нему и Нерона, и людей меньшинства. Дело было в другом. Обвинения его в республиканизме ничем не подтверждаются; то был преданный интересам государства, консервативный и дельный, т. е. вполне обычный, римский сенатор, но он жил в эпоху, когда явно переставала быть обычной сама эта старомодная норма и

верность ей требовала личного активного сопротивления общепринятому и общераспространенному. Именно такое сопротивление — ведущая черта в облике Тразеи. Его постоянная забота о верности принципам и чистоте помыслов отчасти поневоле, а отчасти и сознательно превращалась в назидание и вызов. Он утверждал, например, что в качестве судебного защитника следует браться лишь за дела, от которых все отказались, и за такие, которые имеют значение примера.

Неудивительно, что его — человека в частной жизни мягкого, весёлого и снисходительного — обвиняли в том, будто «он окружил себя людьми суровыми и упорными, всем своим видом упрекающими принцепса в распущенности» [29]. Последнее было правдой. Когда в сенате докладывали официальную версию событий, в ходе которых Нерон убил свою мать, Тразея встал и молча вышел. Он не аплодировал во время артистических выступлений Нерона, на которых все присутствовавшие, в том числе знатнейшие сенаторы, буквально выли от восторга, и не явился на заседание сената, когда там предстояло осуждение Антистия Ветра.

Такое поведение вполне соответствовало заповедям римского стоицизма. В философии стоицизма, которой увлекались многие сенаторы большинства, принято подчеркивать момент осознанной субъективной нравственной ответственности, независимости от официальных почестей и материальных благ, волевое, неуклонное следование своей внутренней норме — словом, тот нонконформизм и тайную свободу, которые и делали стоицизм философией оппозиции. Это, разумеется, верно, но при этом, однако, не всегда учитывается, что центральное для стоицизма понятие нравственной ответственности обладало не только общим индивидуалистическим протестантским пафосом, но и вполне определенным общественно-историческим содержанием, а содержанием этим для римского сенатора, тем более консервативно настроенного, оставался долг личности перед государством, традицией и сословным коллективом. Близкий к «стоической оппозиции» поэт Персий, перечисляя заповеди стоика, напоминает об обязанности «ничего не жалеть для родины» [30]. О Гельвидии было прямо сказано, что он стал стоиком, «дабы увереннее вести дела государства среди разного рода случайностей» [31]. Сенека полагал, что стоическую virtus естественнее всего обнаружить «в храме,

на форуме, в курии»[32], и сам в течение пяти лет принимал непосредственное участие в управлении государством.

Подобное отрицание практики государства и сохранение верности его высшему историческому смыслу в теории могли совмещаться, в реальном поведении они исключали друг друга. Верность государству, практика которого внутренне воспринималась как чуждая и неприемлемая, превращалась в приспособленчество и лицемерие, столь характерные для большинства сенаторов. В этой зыбкой двусмысленности и непрерывных переходах от одной системы ценностей к другой и от них обеих к пониманию их общей относительности жили, мыслили и действовали и Сенека, и Тразея Пет, и многие другие представители так называемой «стоической оппозиции». В той же мере, в какой люди этого типа хотели быть последовательными, им оставалось лишь универсальное отрицание господствующей и единственной реально существующей общественной практики, а такая последовательность, основанная на консервативной фикции римской государственности и абстрактном морализаторстве, перерастала в отрицание действительности, развития и жизни.

Видные представители сенатского большинства окружены какой-то особой мертвенной атмосферой, которая проявляется в их неспособности — подчас полукомической, а чаще жутковатой — рассмотреть реальные пропорции жизненных явлений. Старый сенатор Корбулон (отец полководца) твердо помнил, что в древности знаменитый Катон каждое свое выступление в сенате заканчивал словами: «Карфаген должен быть разрушен». Верный нравам предков, Корбулон решил вести себя так же, но, поскольку разрушение Карфагена к его времени (дело происходило при Гае Калигуле) было неактуально, он избрал другую тему. Ему не нравилось состояние дорог в Италии, и он постоянно говорил об этом в сенате по любому поводу, многословно и напыщенно. Наконец Гай — то ли в насмешку, то ли в поисках предлога для усиления антисенатских репрессий — поручил ему провести расследование и наложить штраф на магистратов («живых или умерших»!)[33], повинных в дефектах дорожных покрытий. Трудно себе представить, что тут поднялось. Корбулон действовал с государственным размахом и древней суровостью — зашумели суды, эксперты

определяли неплотность укладки камней в дорожных основаниях вековой давности.

Все это не имело никакого смысла, поскольку дороги амортизировались постоянно, однако преследования росли и принимали нешуточный характер. Как только Калигулы не стало, Клавдий прекратил всю эту трагикомедию. Деньги оштрафованным вернули, частично из императорской казны, частично взыскав их с Корбулона, окончательно убедившегося в том, что авторитет сената и древняя преданность интересам Рима погибли безвозвратно.

Та же типичная для консервативных сенаторов старого склада неспособность сообразоваться с жизненной реальностью проявилась еще раз в 61 г.— на этот раз в трагическом варианте. Наместник Британии Светоний Паулин был человек старый, медлительный, много воевавший и выше всего ставивший славу — свою и государства. Стремясь к таковой, он решил захватить большой и стратегически важный остров Мону (нынешний Мэн). Он думал о стратегических выгодах, которые ему сулило это предприятие, и не думал о том, что оставляет у себя в тылу незащищенные колонии римских граждан. Едва он отбыл на Мону, британцы набросились на колонистов и уничтожили их. Вернувшись, Паулин подошел к другой колонии (нынешнему Лондону), постоял перед ней и, найдя позицию не совсем удобной, ушел, оставив колонистов на верную гибель. Когда и эта колония была захвачена и в общей сложности более 70 тыс. римлян погибли, он занялся мщением — и так, что над многими народностями Британии, в том числе и над теми, которые не имели к разграблению колоний никакого отношения, нависла угроза полного истребления. Их спасло лишь то, что прокуратор Британии Классициан настоял на немедленном отзыве Паулина, продолжавшего твердить, что интриганы не дают ему защитить честь римского народа.

Во всем этом эпизоде краеугольные понятия мировоззрения сенаторов большинства — «верность нравам предков», «древняя доблесть» и «преданность интересам Рима» — отчетливо выступают как форма аристократического безразличия к живым людям, самоупоенного и бездарного легкомыслия и бесконечной жестокости.

Изоляция от развития и жизни имеет своим конечным результатом смерть. Постоянная мысль о ней и

своеобразная патетика смерти характерны для очень многих людей разбираемого типа. Жена участника антиклавдианского восстания Цецины Пета Аррия Старшая после разгрома восстания неоднократно пыталась покончить с собой, но с мыслью о самоубийстве она, по-видимому, свыклась издавна, без всякой связи с восстанием: как пишет знавший эту семью Плиний, «решение умереть славной смертью не пришло к ней внезапно» [34]. Тразея еще совсем молодым человеком строил свою жизнь с расчетом на то, что ему придется погибнуть, а в старости говорил, что «только ленивые и малоразумные окружают тайною последние мгновения своей жизни» [35]. «Я не боюсь смерти»,— признавался преторианцам едва усыновленный Гальбой Пизон [36]; усыновленный Кассием Лонгином молодой сенатор Силан Торкват как бы вторил ему: «Я приготовил к смерти свой дух» [37].

Мировоззрение, которому были привержены люди сенатского большинства, строилось на представлении о mos maiorum и pietas как высших жизненных ценностях. Но, воспринятые как императив и норма, понятия эти исключали развитие и движение, а потому оборачивались пассивностью и омертвением. Если присущий людям меньшинства общественный динамизм осложнялся в общественном мнении представлениями о разрушительном хищничестве, демонической энергии, беспардонном эгоизме и тем самым разоблачал сам себя, то в традиции, в русле которой шло «большинство», уважение к историческим устоям римского государства переставало быть духовным благом, ибо несло с собой застой и лень, консервативность и смерть. Ситуация, при которой развитие воспринималось как зло, а верность традиции — как застой, исключала возможность здорового, нравственно полноценного движения общества и знаменовала поэтому глубокий духовный и политический кризис. Он находил себе выражение в борьбе сенатских группировок, но не исчерпывался ею: противоречие между динамической практикой общественно-политического развития и консервативной системой традиционных моральных ценностей было типично для истории Рима в целом и обусловлено природой римской гражданской общины.

4. Принципат и гражданская община. Исходным и определяющим фактом истории древности является примитивность ее хозяйственного уклада. Античный мир, по замечанию Маркса, состоял из «в сущности

бедных наций»[38]. Консервативное и в общем ленивое в своем отношении к природе и к труду, ориентированное на обмен и потребление гораздо больше, чем на самообновление, не заинтересованное в использовании данных науки, не знающее подлинного технического прогресса, с экстенсивным ростом рынков, преобладающим над интенсивным, воспроизводство в древнем мире могло быть расширенным лишь в очень ограниченной степени — достаточной для выживания сравнительно небольших и сравнительно замкнутых коллективов со сравнительно простой и укорененной в производстве военно-политической надстройкой, но недостаточной для существования больших единых государств со сложным и разветвленным аппаратом управления, профессиональной армией, с обособившимися от непосредственного участия в экономике огромными контингентами людей, занятых в бюрократии, судопроизводстве, культуре и культе. Античный город-государство, так называемый полис, представлял собой форму общественной организации, идеально приспособленную к подобному хозяйственному укладу и к подобному состоянию общества.

Жизнь покоилась здесь из столетия в столетие на тех же неизменных основаниях: земля как источник собственности и состояния; ее обработка как форма освоения природы и как нравственный долг человека перед разумностью мирового устройства; натуральное, довлеющее себе хозяйство, возделываемое трудом «фамилии» и кормящее ее; принадлежность к органическому, конкретному целому — природному и общественному — как условие человеческой полноценности и гражданская община как наиболее совершенная и естественная форма такой целостности; острое ощущение различия между общиной и необщиной, гражданами и негражданами. Характерное для города-государства на протяжении всей его истории тяготение к локальности, дробности, к человеческой конкретности хозяйственной, политической и духовной жизни, к сохранению семейно-родовых, общинных, местных связей и обязательств, благоговейное уважение к прошлому не были поэтому проявлением чьей-то ретроградной воли, злонамеренным консерватизмом. Обусловленное объективными производственными возможностями, оно казалось — и было — инстинктом самосохранения тогдашнего человечества, его непреложной потребностью, естественной, как дыхание.

Пока жив был этот мир и длился этот этап человеческой истории, полис вообще и римская гражданская община в частности представлялись воплощением самой сущности жизни, ее высшим выражением и высшей ценностью. Их город был для римлян не «населенный пункт», а модель мира, уклад жизни, неповторимая система нравственных норм. «Уничтожение, распад и смерть государства-города,— писал Цицерон,— как бы подобны... упадку и гибели мироздания» [39].

Но оставаться неизменным, просто сохраняться общество не могло. Город жил, а следовательно, как ни медленно, но развивался; развитие же предполагало усиление обмена, рост денежного обращения, разрушение патриархальной замкнутости, появление новых порядков и нравов, предполагало сметку и хватку, освобождение от послушного растворения в традиции, предполагало, другими словами, человеческую инициативу и самостоятельность. Наряду с консервативной ценностью целого жизнь утверждала динамическую ценность личности, обособившейся от этого целого и в этом смысле противопоставленной ему. Сами римляне верили, что это противоречие разрешимо, и видели в своей гражданской общине высшую форму общественного развития именно потому, что она, по их мнению, соединяла консерватизм общественного целого и возможность развития, «заветы предков» и выгоду потомков. Цицерон приводил строку из стихотворной «Летописи» поэта Квинта Энния:

«Древним укладом крепка и мужами республика римлян»—

и, поясняя ее, писал: «Стих этот ввиду его краткости и правдивости поэт, мне кажется, изрек как бы в боговдохновении; ибо ни эти мужи, если бы гражданам не был присущ такой уклад, ни уклад, если бы подобные мужи не стояли во главе гражданской общины, не смогли бы ни создать, ни надолго сохранить наше великое государство, могущество которого столь далеко и столь широко распространилось. Поэтому до сих пор сам дедовский уклад привлекал лучших мужей к деятельности, а выдающиеся мужи хранили древний уклад и заветы предков» [40].

Это была иллюзия. Патриархальность и развитие действительно составляли две нераздельные стороны жизни полиса, и он существовал и рос потому и в той мере, в какой мог их сочетать. Но соединение это происходило

не в виде примирения противоположных принципов или гармонии между ними, а в виде непрестанных столкновений обеих тенденций, победы то одной, то другой из них, переходов и метаний, срывов и борьбы. По мере роста и обогащения римской гражданской общины деньги во все растущем количестве вращаются на поверхности жизни и, не проникая в глубины общественного организма, усложняют и развивают не производство, а потребление. Быт, одежда, еда, зрелища становятся все более пышными, потребность в деньгах — все более привычной и острой, тщеславие, мотовство, хищнические способы добывания предметов роскоши — все более распространенными. Это разлагало былую простоту и патриархальность, подрывало внутреннюю сплоченность города-государства и консервативные нравственные нормы народной жизни, не внося в то же время никаких коренных изменений в сам способ производства. Энергия, воля, самостоятельность, инициатива «мужей» оказывались не только связанными с «древним укладом», но и несовместимыми с ним.

Выживание римской общины и верность ее своим историческим основам в сопоставлении с ее движением вперед всегда выступали как консерватизм и застой, а ее развитие в сопоставлении с ее неизбывной объективно заданной патриархальностью — как разложение, хищничество и audacia — «наглость». Римская гражданская община представляла собой систему, основанную на взаимодействии этих двух непримиримых и нераздельных тенденций — хозяйственных, политических, духовных. Победа какой-либо одной из них была немыслима, и борьба их могла прекратиться только с крушением всей системы. Конфликт «большинства» и «меньшинства» в сенате Нерона и Флавиев представлял собой ту форму, которую это центральное противоречие римской гражданской общины приняло накануне своего крушения, в эпоху раннего принципата.

В какой мере можно связывать события эпохи Флавиев с внутренними особенностями такой архаической организации, как гражданская община? Описанные особенности гражданской общины были обусловлены коренными свойствами господствовавшего способа производства, и поскольку этот способ производства сохранялся в течение всей античности, постольку сохранялись и полисные формы жизни. Не говоря уже о сельской мест-

ности (она примыкала к городу и там находились земельные владения граждан), сохранявшей и даже укреплявшей на протяжении всего периода Империи свои общинные институты, жизнь города как такового в I в. н. э. тоже еще во многом строилась на общинных основаниях.

Переход от Республики к Империи непосредственно выражался в том, что вооруженные силы государства перешли в подчинение одного человека — их главнокомандующего, императора, который благодаря этому и получил возможность проводить политику, учитывавшую интересы всей бескрайней державы, а не только олигархии города Рима. В новых условиях и для решения новых задач принцепсы должны были бы разрушить некогда сложившийся в недрах городской общины и приспособленный к ее нуждам аппарат управления и уничтожить сенат, воплощавший интересы старой республиканской аристократии. В призывах и поползновениях такого рода недостатка не было, физическая возможность их осуществления тоже была очевидна всем. И тем не менее императоры ею ни разу не воспользовались. И в окружавшем их обществе, и в глубине их собственной души этому, очевидно, противостояла сила, которую не могли одолеть никакие легионы. Республиканский аппарат управления сохранился полностью. В официально идеализированном представлении император правил не потому, что располагал вооруженной силой, а потому, что его в соответствии с республиканским законом утвердил сенат и в соответствии с тем же законом вручил ему проконсульский империй, дававший командование над армиями, трибунскую власть, т. е. право приостановки и отмены сенатских решений, избрал его принцепсом, буквально: «первоприсутствующим», т. е. руководителем сената. Императорам ничего не стоило с помощью военной силы вынудить то или иное сенатское постановление. Соответственно, решение сената не имело, казалось бы, никакого значения, но те же императоры не воспринимали свою власть как подлинную, пока она не была утверждена сенатом.

Показательно в этом смысле поведение Веспасиана: он отмечал день своего прихода к власти 1 июля, когда его объявили императором войска, а не день утверждения его сенатом. Это соответствовало внутренней эволюции принципата, так как избрание императора войсками ука-

зывало на растущую независимость его от римской сенатской олигархии. Последнее было вполне очевидно и сенаторам, и Веспасиану, поскольку в декабре 69 г. он обратился к сенату как принцепс на том единственном, но ни у кого не вызывавшем сомнений основании, что войска признали его верховным правителем империи. Но одно дело очевидность, а другое — общественно значимая норма: едва появившись в Риме, Веспасиан настоял на издании закона — даже не простого сенатского постановления, а именно закона, принятого в комициях и утверждавшего его полномочия. И хотя сенат не мог не признать Веспасиана принцепсом, хотя комиции, как все другие виды народного собрания, давно уже, казалось, не имели никакого значения, тем не менее только такой закон делал реальную власть Веспасиана в глазах народа и в его собственных не узурпированной, а соответствовавшей старинным установлениям гражданской общины и лишь потому правильной и достойной.

Укрепление власти сената означало ослабление власти принцепса; террор против лиц, особенно рьяно отстаивавших независимость и привилегии сената, был поэтому императорам необходим, и реальных препятствий к тому, чтобы придать ему любой размах, не существовало. При всем этом, однако, с самого начала Империи встал вопрос о том, чтобы при вступлении на престол император брал на себя обязательство не приговаривать сенаторов к смерти. Неподсудность сенаторов принцепсу была провозглашена в идеальной программе Августова правления, сформулированной некогда Меценатом; клятву не казнить сенаторов приносили, по-видимому, Веспасиан и Траян, бесспорно — Тит, Нерва, Адриан. Относительно других правителей у нас нет данных, но о прямом отказе взять на себя подобное обязательство известно лишь в одном случае — в случае Домициана. Все это, конечно, не мешало принцепсам осуществлять террор против сената, который был задан объективно, самим историческим смыслом их правления. Но у них почти всегда оставалось ощущение, что они при этом вынужденно нарушают некоторую норму, которую в общем лучше соблюдать, и лишь в исключительных и крайне редких случаях террор этот продолжался сколько-нибудь долгое время.

Подобное отношение принцепсов к сенату — лишь верхняя, возвышающаяся над водой часть айсберга. Под ней явственно ощущалась та тайная, угадывающаяся в

глубине громада, которая несла на себе эту всем заметную верхушку. Уходившая своими истоками в гражданскую общину, вековая вязь традиций, верований, полуосознанных убеждений и вкоренившихся навыков так плотно охватывала жизнь, была такой крепкой и всеобщей, что первые императоры не только не пытались ее порвать, но стремились врастить в нее создаваемый ими режим. Власть их основывалась на военной силе и юридически оформленных полномочиях, но они постоянно и усиленно заботились о том, чтобы в массовом сознании она опиралась на представления иного порядка, лишенные четкого правового содержания, в которых легенда стала народным чувством, а традиция — общественной психологией.

К числу подобных представлений относились власть отца семьи над членами фамилии, право вождя племени вершить суд, круговая порука, соединявшая полководца и солдат, покровительство патрона клиентам, авторитетность в общественных делах, первое место в списке сенаторов. Во власти принцепсов они подчеркивали роль личных заслуг, делали ее неформальной, связывали с неписаными обычаями народа. Императоры вообще изображали свой строй не в виде противоположности гражданской общине и городской республике как ее политической форме, а в виде их продолжения. В своем политическом завещании Август писал, что он «вернул свободу республике, угнетенной заговорами и распрями», что он действовал всегда лишь «по приказанию сената и народа» и не принимал никаких должностей, «противоречащих обычаям предков» [41].

Слова «восстановленная республика» или близкие им по смыслу повторяются на монетах ряда императоров I в. В определенных условиях почти все они подчеркивали, что считают себя не монархами, а гражданами республиканского государства, лишь получившими от сената и народа особенно широкие полномочия. Август «имени „государь“ страшился как оскорбления и позора» [42]; Тиберий категорически запретил воздавать себе в Риме божеские почести; Клавдий считал себя «таким же гражданином, как все другие» [43]; Вителлий заявил, что каждый сенатор при обсуждении государственных дел может разойтись с ним во мнениях; Веспасиан в письме к сенату «упоминал о себе как о простом гражданине» [44]. Представление о том, что Рим принцепсов — это тот же древний город-государство, лишь возросший, усовершенство-

ванный и украшенный, а новая власть означает не ломку, но продолжение его духовных традиций, лежало в основе всего «римского мифа» Ранней империи и произведений искусства, великих и заурядных, его выражавших,— «Энеиды» Вергилия и «Римских од» Горация, музея под открытым небом, в который Август превратил римский Форум, и «Римской истории» Веллея Патеркула. Соответственно республиканское прошлое прославлялось как предмет гордости и некоторая идеальная норма римской государственности. «Если бы огромное тело государства,— говорил император Гальба,— могло устоять и сохранить равновесие без направляющей его руки единого правителя, я хотел бы быть достойным положить начало республиканскому правлению» [45].

Между восхищением республиканской стариной с ее героями и верной службой принцепсу не было противоречия — республиканские симпатии Тита Ливия и Вергилия были прямой формой преданности империи, Сенека безгранично восхищался Катоном и был непреклонным сторонником и теоретиком принципата, Титиний Капитон был ближайшим помощником Домициана, а потом Траяна и коллекционировал бюсты Брутов, Кассиев и Катонов.

Наивно и несерьезно видеть во всем этом «лицемерие» императоров. Римская действительность эпохи принципата была насыщена пережитками общинного уклада, и императоры не могли не считаться с этой окружавшей их со всех сторон общественной стихией. То были даже не пережитки, а органические элементы жизни, растворенные в ней воззрения, привычки, традиции. Борьба «наглецов» и «ревнителей старины» тоже была связана с сохранением общинных начал, только условия империи, в которых она теперь велась, не меняя исходного содержания этого конфликта, ставили его в иной общественный контекст и придавали ему тем самым иной исторический и человеческий смысл. Одна из главных задач, решить которые была призвана империя, состояла в приведении государственной системы, сложившейся в ходе развития Рима как города, в соответствие с потребностями нового Рима — Рима как мировой державы. Принципат возник из необходимости решить эту задачу, представлял собой попытку примирения римской олигархии и новых социальных сил — рабовладельцев Италии и провинций — и потому носил компромиссный характер.

Такой компромисс предполагал, с одной стороны, сохранение республиканских политических форм и традиционных групп, которые обеспечивали связь власти со старыми, еще очень прочными устоями общественной жизни и морали, а с другой — опору на развивающиеся слои, враждебные закосневшему в стародедовском консерватизме сенатско-аристократическому Риму и неизбежно выступавшие как разрушители традиционно римских общественных норм. В структуре раннего принципата Рим, его прошлое и по-старинному понятый общественный интерес оказывались как бы противопоставленными от них же неотделимым силам внеримской, общеимперской новизны. Авансцена политической жизни I в. заполнена столкновениями консервативных сил, за которыми стояли традиции и нравственные представления, одновременно необходимые принципату и неприемлемые для него, с силами антитрадиционными, за которыми не было старинных общественных устоев, но было поступательное развитие империи и которые были для принцепсов столь же необходимы и столь же неприемлемы, что и их противники.

Обе указанные тенденции раннеимперского развития существовали во времени. Они нарастали, обострялись, все быстрее и быстрее стремились каждая к своему завершению. Синкретические, общеимперские формы жизни, культуры, производства, управления становятся многочисленнее и шире год от года. В складывающейся новой действительности обесцвечиваются и растворяются имена и взгляды, навыки быта и общественно-психологические реакции, сохранившиеся с республиканских времен. Ёще несколько десятилетий, и при Антонинах первые заполонят все, а вторые исчезнут совсем. Пока, однако, они еще живы, и в этом стремительном, нарастающем процессе эпоха Флавиев, а особенно правление Домициана, образует напряженную паузу, последнюю остановку. Создается та особая, невыносимая, удушливая, чреватая ежеминутным взрывом атмосфера, которая, по единодушному признанию современников, царит в сенате и в городе. В этом углублявшемся расхождении между реальным содержанием исторического процесса и его идеологической, нравственной, социально-психологической санкцией заключены непосредственные причины духовного кризиса высших слоев римского общества флавианской эпохи.

Глава вторая

«ТРЕТЬЯ СИЛА»

Развитие принципата вело римской мир за пределы противоречия «гражданская община—провинции» и формировало соответствующий тип людей, способных не только участвовать в борьбе «ревнителей старины» и «наглецов», но постепенно понимать ее исчерпанность и играть по отношению к тем и другим роль «третьей силы»; людей, способных ориентироваться не на вре́менные, связанные с ее происхождением противоречия империи, а на ее существо и историческую перспективу, состоявшую в создании единой державы, охватывавшей весь известный римлянам мир; людей, предпочитавших командовать армиями, налаживать управление провинциями, укреплять границы, вместо того чтобы в бесплодных интригах, страхе и ярости проводить жизнь в курии. Уже с середины I в. такие люди обнаруживаются в самых различных общественных слоях, но яснее всего — в складывавшейся новой императорской администрации. Они группировались на тех участках государственного управления, где надо было думать о настоящем ради будущего, а не о настоящем ради прошлого и где повседневная тяжелая практическая работа не оставляла времени для романтических страстей. Мы остановимся на двух таких участках — на прокуратуре и Совете принцепса.

1. Прокураторы. По своему происхождению прокуратура представляла собой учреждение частное, семейное, и придание ей государственных функций было связано с превращением семьи принцепса в правящую династию. Как каждый богатый и знатный римлянин, римский император обладал определенным, ему и его семье принадлежащим имением. Имением этим управляли доверенные лица, которые первоначально и назывались прокураторами: pro-curator — тот, кому передана забота о каком-либо деле. В большинстве семей, и в императорской в том числе, эти функции обычно выполняли вольноотпущенники, и подобные прокураторы сохранялись на протяжении всего I в. н. э. Однако после превращения принципата из магистратуры в пожизненный статус имение императора перестало исчерпываться просто принадлежащими ему лично землями, скотом, рабами и деньгами, в него вошли и средства на оплату государствен-

ных мероприятий. Императорская казна, рассчитанная на оплату таких мероприятий, имела свое название — фиск — и была тщательно отделена от подведомственной сенату государственной казны — Эрария римского народа. Фиск как бы продолжал имение цезаря и в качестве такового подлежал ведению его доверенных лиц, т. е. опять-таки прокураторов, хотя и не совсем таких же, что в первом случае, когда речь шла об имуществе принцепса как частного человека.

Насаждавшийся Августом принцип — кесарю кесарево, а «сенату сенатово» — влек за собой включение в «императорское имение» всего, что принцепс отвоевал у сената, и соответственно все большее расширение сферы компетенции прокураторов. Так, уже очень рано начал складываться особый, непохожий на другие тип провинций. Военное положение здесь не было столь напряженным, чтобы требовать присутствия легионов; в то же время умиротворение и романизация этих земель не были доведены до конца и какие-то войска здесь были необходимы. Такие провинции входили в ведение военной власти и тем самым императора как верховного главнокомандующего, были как бы «его» территорией, а раз так, то и управлялись они доверенными лицами принцепса, т. е. еще одной разновидностью тех же прокураторов.

В деятельности прокураторов всех трех типов — управлявших частным имением принцепса, ведавших сбором средств в фиск и стоявших во главе некоторых императорских провинций — было нечто общее. Дело в том, что у римлян служба государству всегда противопоставлялась службе лицу. Первая была почетной, исконно римской, достойной свободного и полноправного гражданина; вторая свидетельствовала о гражданской несамостоятельности, была лишена общественного престижа, а иногда и просто позорна, рассматривалась как правовое состояние, характерное для варварских народов. Прокуратура была службой лицу, и потому между человеком, ее исполнявшим, и человеком, служившим res publica как таковой,— сенатором, магистратом — существовала непроходимая грань. Этот контраст, однако, оставался четким и ясным, пока речь шла о службе прокуратора частному лицу; он радикально менял свой характер, если в роли такого лица выступал принцепс, т. е. постоянно находящийся при исполнении своих обя-

занностей носитель всех основных магистратур, средоточие и воплощение государства. Доверительное поручение принцепса всегда было поручением государственным, независимо от того, шла ли речь об управлении провинцией или о наблюдении за исправным ходом его хозяйства. Поэтому разделить прокуратора на уполномоченного главы государства и на частное лицо, представляющее интересы другого частного лица, было невозможно, но в то же время такое разделение было и необходимо до тех пор, пока сохранялась юридическая форма республиканского государства и принцепс считался одним из его граждан.

Двойственный характер прокуратуры на ранних этапах ее существования, путаница и искусственность, отсюда проистекавшие, хорошо видны на следующем примере. Прокуратор Тиберия Луцилий Капитон ведал частным имуществом императора в провинции Азия. Тиберий особо подчеркивал личный характер его миссии и заявлял, что никаких прав, выходящих за рамки такого поручения, он Капитону не предоставлял. Но, сохраняя этот свой юридический статус, прокуратор не мог справиться с возложенными на него обязанностями: сбор налогов в фиск нередко велся с применением силы и прокуратор должен был опираться на какие-то вооруженные отряды; он не мог не разбирать спорные случаи, т. е. не выступать как судья, или, иными словами, как римский магистрат. Когда же Капитон пошел на такого рода действия, провинциалы обвинили его в превышении власти и сенат с согласия Тиберия удовлетворил их жалобу: Капитон был подвергнут суду сената и осужден. Показательно здесь то, что Тиберий, осудивший своего агента за узурпацию им прав римского магистрата, сам же передал жалобу на него в сенат, т. е. отнесся к проступку домочадца, подлежавшего домашнему наказанию, как к должностному преступлению.

Такое положение долго сохраняться не могло. В 53 г. Клавдий упорядочивает и официализирует положение прокураторов — устанавливается особый cursus, т. е. последовательность служебных должностей, ведший к занятию прокураторских мест. Прокураторы императора должны были отныне принадлежать к всадническому сословию и обязательно пройти до назначения длительную службу в легионах или в преторианской гвардии; прокураторы фиска были разделены на категории в зависимости от важности провинций, и в соответствии с категори-

сй прокураторам выплачивалось ежегодное содержание; они получали право суда и следствия и право военного командования.

«Отношения личной зависимости, столь явственно ощущаемые в начале Империи, становятся все свободнее, и прокуратор теперь служит государству, верховным представителем которого является принцепс»[1]. Вокруг императора складывается новый государственный аппарат. Но, все отчетливее превращаясь в абстрактное средоточие мировой власти, принцепс до конца I в. лично для себя, для окружающих, для всех, кто был идейно связан с исконно римской традицией, оставался гражданином, выполняющим особо ответственное поручение сената и римского народа, и поэтому его прокураторы, несмотря на законный, официальный характер, который приобретала теперь их деятельность, продолжали оставаться и в собственных глазах, и в общественном мнении должностными лицами особого сорта — находящимися в услужении.

Когда в 15 г. до н. э. галлы, доведенные до отчаяния вымогательствами прокуратора Лицина, обратились с жалобой к императору Августу, тот уладил дело вполне патриархально, внутри фамилии: вызвал Лицина к себе, выбранил его, исключил из числа прокураторов и пригрозил худшим наказанием. Лицин покаялся, поделился награбленным с императором и остался жить в столице на положении независимого человека, чье богатство вошло в Риме в поговорку. Лицин был отпущенником, его прокураторство — поручением патрона, и решение всего вопроса домашним порядком — единственно естественным. Но уже Тиберий, как мы видели, передавал подобные дела в сенат, Клавдий превратил прокураторов в магистратов, и тем не менее положение прокураторов продолжало оставаться двойственным. Прокураторов перестали назначать из отпущенников, т. е. из фамилии принцепса, подавляющее большинство их теперь были всадники, но фактически отчитывались они перед отпущенником, ведавшим фиском, были подчинены ему, а подчас и получали должности по его протекции. В общественном мнении, да и в обычной практике, это по-прежнему были две разновидности одного состояния. Еще при Флавиях, т. е. после превращения прокуратуры в особый, официальный и иерархически упорядоченный сектор государственного управления, конфликтные дела прокураторов все еще

зачастую разбирались наряду с делами отпущенников не официальным порядком, а, как и раньше, в семье принцепса. Императорскими гладиаторскими школами управляли прокуратор и субпрокуратор, оба всадники, но их коллегой, ведавшим хранением оружия, т. е. участком, связанным с особым доверием и ответственностью, оставался отпущенник.

В условиях I в. роль внесенатской прокураторской администрации, как видим, была двойственной и соответственно двойственным был социально-психологический тип тех людей, которых императоры отбирали на руководящие должности, к ней относившиеся. Ориентированный на выполнение общеимперских задач, призванный обеспечить империи единую систему управления, складывавшийся аппарат и люди, в него входившие, действительно знаменовали упразднение исторической противоположности «полис—провинции», а потому и социально-психологической противоположности «ревнителей старины» и «наглецов». Прокураторы выступали по отношению к ней как «третья сила», и во многих случаях это определяло их общественное поведение, их жизненную позицию, их общий облик. Чтобы убедиться в этом, познакомимся с некоторыми из них поближе. Такую возможность нам дают их сохранившиеся надписи.

«Гаю Велию, сыну Сальвия, Руфу, примипилярию (так назывался первый центурион первой когорты легиона.— *Г. К.*) XII Молниеносного легиона, префекту отдельных отрядов в девяти легионах — I Вспомогательном, II Вспомогательном, II Августовом, VIII Августовом, IX Испанском, XIV Сдвоенном, XX Победоносном, XXI Стремительном [2]; трибуну XIII городской когорты; командующему войсками Африки и Мавритании, направленными на подавление населяющих Мавританию племен; удостоенному от императора Веспасиана и императора Тита за участие в Иудейской войне венком за взятие вала, шейными и нагрудными знаками отличия, почетным запястьем, а также венком за взятие крепостной стены, двумя почетными копьями и двумя вымпелами и, кроме того, за войну с маркоманами, квадами и сарматами, на которых он ходил походом через земли Децебала, царя даков, венком за взятие крепостной стены, двумя копьями и двумя вымпелами; прокуратору императора Цезаря Августа Германика [3] в провинции Паннонии и Далмации, также прокуратору провинции Реции с пра-

вом военного командования. Посланный в Парфию, он привел к императору Веспасиану сыновей царя Антиоха, Эпифана и Каллиника, с великим множеством подданных. Марк Алфий, сын Марка, из Фабиевой трибы, олимпийский знаменосец, ветеран XX Аполлонова легиона».

В этой биографии прежде всего обращает на себя внимание длительность и напряженность боевой службы в легионах. Руф был примипиларием еще до Иудейской войны, должность же эта присваивалась за особые заслуги и храбрость лишь самым опытным центурионам; он начал службу, таким образом, самое позднее в начале правления Нерона. Поход Домициана против маркоманов и квадов, относящийся к 89 г., еще застает Руфа в армии, где он провел, следовательно, более 30 лет. За эти годы он проявил себя не только как храбрый командир, но и как человек, умеющий ориентироваться в политической ситуации и принимать самостоятельные решения. Об этом говорит и специализация его на командовании «вексилляциями» — отдельными отрядами, нередко выводившимися из состава легиона и выполнявшими особые задания, и то, что ему, младшему офицеру, поручили командовать самостоятельной экспедицией против мавританских племен.

Практически вся служба Руфа протекает в провинциях и на границах; с Римом, где он лишь некоторое время командует когортой городской стражи, он почти не связан, с сенатом не связан вовсе. Неудивительно поэтому, что столичные и придворные события — заговоры, репрессии, смены императоров и династий — никак не отражаются на его карьере и характере деятельности. Он получает звание примипилярия при Нероне, боевые награды — от первых Флавиев и, по всему судя, от кого-то из императоров 69 г., прокуратуру — от Домициана. Прокуратура имела иерархические ступени, как и армия. Опытный военачальник, инициативный администратор, чуждый политическим котериям, Руф, видимо, настолько успешно ведал финансами Паннонии и Далмации, что Домициан уже через несколько лет переводит его на прокураторскую должность, сопряженную с военным командованием, т. е. фактически приравнивает этого солдата к магистратам.

А вот другой примечательный вариант прокураторской биографии. «Марку Веттию, сыну Марка из Аниенской трибы, Валенту, солдату VIII преторианской когор-

ты, бенефициарию префекта претория (особо заслуженный и доверенный солдат в охране полководца.— *Г. К.*), награжденному за участие в Британской войне шейным, наручным и нагрудным почетными украшениями, а также золотым венком, центуриону VI когорты ночной стражи, центуриону статоров (подразделение, несшее караульную и полицейскую службу.— *Г. К.*), центуриону XVI городской когорты, центуриону II преторианской когорты, наставнику конной охраны императора, старшему по преторию, центуриону XIII Сдвоенного легиона с подчинением ему трехсот солдат, примипилярию VI Победоносного легиона, награжденного за удачные боевые действия против астуров шейными и нагрудными знаками отличия и почетными запястьями, трибуну V когорты ночной стражи, трибуну XII городской когорты, трибуну III преторианской когорты, примипилярию во второй раз XIV Марсова Сдвоенного Победоносного легиона, прокуратору императора... Цезаря Августа [4] в провинции Лузитании, патрону колонии преторианцев императорской охраны. Воздвигнуто в знак уважения к делам его в консульство Гая Лукция Телезина и Гая Светония Паулина» [5].

Как явствует из надписи, Веттий Валент стал бенефициарием сразу после британского похода 43 г., чем косвенно удостоверяется длительность его пребывания в армии к этому моменту. Солдатом он сделался, следовательно, при Калигуле или в последние годы Тиберия, т. е. ко времени назначения на прокураторскую должность прослужил не менее 25 лет. Необычная тщательность, с которой перечисляются в надписи второстепенные воинские повышения и награды, указывает на их особую важность для Валента, т. е. на чисто солдатские, лагерные навыки его мышления. Проходя службу в преторианской гвардии и в городских когортах, Валент не воспользовался после 16 лет пребывания в армии правом на демобилизацию и во второй раз возвращается из Рима в легионы.

Неуклонное восхождение его по лестнице чинов и званий не позволяет видеть в этих возвращениях результат опалы или форму наказания. То был особый тип cursus'а, в котором дворцовая служба вела не к придворной карьере, а обеспечивала доверие императора, выражавшееся в боевых поручениях: примипилярий по должности входил в число членов военного совета и потому утверж-

дался высшим командованием. Именно такое доверие со стороны принцепса определило характер обязанностей Валента как прокуратора — он был назначен в Лузитанию, когда этой провинцией ведал Сальвий Отон, находившийся здесь как бы в почетной ссылке. К молодому придворному дебоширу оказался приставленным бывалый старый солдат, державший наместника под бдительным наблюдением, но прежде всего призванный незаметно и постоянно руководить им, налаживая дельное и эффективное управление провинцией. Зная характер Отона, едва ли можно поверить, чтобы без такого прокуратора смог он «управлять провинцией в квесторском сане в течение десяти лет с редким благоразумием и умеренностью» [6].

В таких людях, как Велий Руф или Веттий Валент, выражалось главное в деятельности прокуратора. Главное, но не единственное. В принципе и в перспективе прокураторы были «третьей силой»; в практической жизни, однако, они нередко оказывались перед выбором и вплоть до конца 90-х годов I в. в соответствии со своими личными особенностями сближались то с «наглецами», то с «ревнителями старины», ориентируясь по силовым линиям того поля напряжения, в котором жило еще их время.

В 88 г. в Азии по приказу Домициана был убит проконсул этой провинции Секст Веттулен Цивика Цереал. Убил его прокуратор Гай Миниций Итал, который тут же в нарушение всех законов и традиций был назначен ведать этой важнейшей сенатской провинцией «по поручению принцепса вместо умершего проконсула» [7]. Нет никакой необходимости (и оснований) ни видеть в прокураторе только коварного злодея, погубившего ни в чем не повинного проконсула, ни считать его честным и бдительным слугой империи, сумевшим вовремя обезвредить заговорщика. О Цивике Цереале мы не знаем почти ничего, а то, что знаем, не дает никаких оснований считать его заговорщиком. Миниций Итал был образцовым прокуратором, стоявшим в стороне и от сенатских дел, и от клики клевретов Домициана: полный, без поблажек и изъятий, комплект боевых должностей в легионах, демобилизация по возрасту, для начала — малозначительная прокуратура в Геллеспонте, за ней — ответственная прокуратура в Азии и уже при Траяне — префектура Египта.

По характеру биографии это был обычный человек «третьей силы», но общая ситуация, в которой он жил и действовал, далеко не всегда разрешала ему оставаться таковым, принуждала его выбирать между, условно говоря, меньшинством и большинством. Цереал был сенатор, консуляр и аристократ, следовательно, находился на подозрении и от него лучше было избавиться, а Итал был всадник и облеченный личным доверием принцепса прокуратор, следовательно, обязанный уничтожать потенциальных его врагов. Человек «третьей силы» постоянно мог оказаться перед необходимостью выбирать между «первой» и «второй» силами. Просопографический материал показывает, что прокураторская группа постоянно переживает процесс диссоциации, в ней вновь и вновь выделяется собственно «третья сила», которая в свою очередь расслаивается — и так на протяжении всего периода, пока эта сила существует больше «в себе», чем «для себя», больше как тенденция, чем как подлинная, уже утвердившаяся реальность, т. е. до конца Флавиев.

Плиний Старший — бесспорно человек «третьей силы». Около 15 лет (начиная с 47 г.) боевой службы в германских легионах, огромный военный и административный опыт, трезвая и спокойная деловитость, поражающая работоспособность делали его незаменимым помощником цезарей в деле провинциального управления. Он был прокуратором высшей категории в четырех провинциях подряд (Нарбонская Галлия, Африка, Ближняя Испания, Белгика), после прокураторства в Белгике был вызван Веспасианом в Рим и ежедневно работал с принцепсом, исполняя обязнности его секретаря, помощника и консультанта. Близость к принцепсу не вовлекла Плиния в круг сенаторов меньшинства; в воспоминаниях современников, в написанной им «Естественной истории» он предстает как человек, не принадлежавший по своему типу ни к «меньшинству», ни к «большинству». И тем не менее в биографии этого человека есть несколько оттенков, которые указывают на то, что устоять вне этой противоположности до конца и полностью ему, может быть, и не удалось.

В «Естественной истории» Плиний много и очень настойчиво доказывал преимущества древних порядков, вкусов и нравов перед современными. Это было, скорее всего, данью моде и ни о чем еще не говорит. Плиний происходил из Циркумпаданской Галлии, города которой

славились старинной чистотой нравов и откуда вышли многие деятели, враждебные принцепсам или связанные со стоической оппозицией. Само по себе это тоже может ничего не доказывать. Но вот наступают 60-е годы, и террор против сенатского большинства достигает предельного накала. Плиний, который при его положении вне борющихся группировок мог, казалось бы, ничего не опасаться, все же счел за лучшее отойти в тень и погрузиться в исследование спорных грамматических форм латинского языка; впоследствии его племянник, Плиний Младший, уточнил, что он взялся за эту работу «в конце царствования Нерона, когда рабская угодливость сделала опасным всякое чуть-чуть свободное и смелое размышление» [8]. Совокупность всех этих оттенков сообщает фигуре Плиния уже определенную окраску, которую, очевидно, воспринимали и современники. Иначе трудно объяснить странную лакуну в его биографии — конец его службы в Германии падает на начало 60-х годов, а прокураторская карьера начинается в 70 г., после прихода к власти Флавиев: видимо, для Нерона и его советников, мысливших еще в пределах противоположности меньшинства и большинства, в Плинии было что-то «не наше».

Формирование «третьей силы» в господствующих слоях римского общества I в. н. э. соответствовало общему историческому развитию Рима. В ходе его исторической эволюции поэтому она перерастала рамки внесенатской администрации и все увереннее втягивала в себя всех, кто развивался вместе со временем — от римского полиса к единому римско-греко-восточному миру. В ней перемешивались сенаторы и всадники, выходцы из древних римских родов и «новые люди», формировался тип человека, упразднявший былые привычные, восходившие к гражданской общине разделения, в том числе и деление на «людей сената» и «людей принцепса». Тот факт, что «третья сила» лишь происхождением связана с внесенатской администрацией, но далеко не исчерпывается ею, что она могла быть представлена и сенаторами, подтверждается обильным просопографическим материалом. Вот один из возможных примеров.

«Титу Плавтию, сыну Марка из Аниенской трибы, Сильвану Элиану, понтифику, жрецу-августалу, триумвиру по литью и чеканке медных, серебряных и золотых монет, квестору Тиберия Цезаря, легату V легиона в Германии, городскому претору, легату и спутнику Клавдия

Цезаря в походе его в Британию, консулу, проконсулу Азии, пропреторскому легату Мёзии, в каковую провинцию он переселил из племен, обитавших за Дунаем, более ста тысяч человек с женами и детьми, со знатью и царями их для взимания с них подати. Отправив бо́льшую часть своего войска в Армению, он все же сумел подавить начинавшиеся волнения сарматов, перевел из-за реки на свой берег царей, прежде римскому народу неведомых или ему враждебных, дабы они склонились перед его знаменами, возвратил царям бастарнов и роксоланов их сыновей, а царю даков — братьев, взятых ранее в плен или захваченных врагами, и принял от некоторых из них заложников, чем укрепил мир в провинции и раздвинул ее пределы, ибо осадой заставил царя скифов отступить за Херсонес, что находится по ту сторону Борисфена. Первым он доставил из этой провинции великое количество пшеницы, чем пополнил хлебные запасы римского народа. Вызвав его из Испании, где он был легатом, для исполнения обязанностей префекта города, сенат почтил его в этой должности триумфальными отличиями по предложению императора Цезаря Августа Веспасиана, высказанному им в следующих словах: «Плавтий так управлял Мёзией, что триумфальными отличиями, которых оказался удостоен я, следовало бы тогда же наградить его, если бы не было ему суждено получить их пусть несколько позже, но зато уже в качестве префекта города, т. е. тем более значительными и славными». Он продолжал быть префектом города, когда Цезарь Август Веспасиан сделал его консулом во второй раз».

Cursus Плавтия Сильвана Элиана обнаруживает некоторые особенности. Его карьера протекает в основном вдали от Рима и состоит в длительной и успешной практической военной, административной и дипломатической деятельности в провинциях. Она не зависит от смены принцепсов, т. е. свободна от элементов фаворитизма или оппозиционности. Показательно, что даже высшие почетные звания присваиваются Сильвану заочно, не отрывая его от работы в провинциях. Должность префекта города Рима как раз в эту эпоху становится все более независимой от борьбы сенатских клик и приобретает судебно-правовой характер. Важно, что при всей древности и знатности происхождения Сильвана в его cursus'е никак не ощущается стремление центральной власти задержать на этом основании его продвижение; нет никаких основа-

ний в то же время предполагать и связь его с «доносчиками».

Явление, которое мы условились называть «третьей силой», не представляло собой, таким образом, ни социально-экономического класса, ни политической партии. То была тенденция общественного развития, которая реализовалась в людях, видах деятельности, общественных институтах. Среди последних показательнее других был так называемый Совет принцепса.

2. Совет принцепса. Одной из духовных констант в жизни римского народа было убеждение в недопустимости решать любое важное дело одному, без совещания с близкими, доверенными и опытными людьми. Обыкновение это полностью сохраняло свою силу и в I в. н. э. Ни один человек, от императора до крестьянина, не принимал сколько-нибудь серьезного решения единолично. Советоваться нужно было обо всем: продолжать ли лечиться или, если болезнь неизлечима, покончить с собой; выдать ли замуж дочь или пока воздержаться; приветствовать ли очередного претендента на престол или лучше сохранить верность правящему императору. Архитектор Витрувий в начале I в. писал, что, проектируя большие дома, необходимо предусматривать специальные комнаты для совещаний с друзьями.

Сложившись в недрах общины и выражая ее веру в то, что не человек, а только коллектив есть носитель мудрости и опыта, это представление, как и многие другие того же происхождения, сохраняло свою роль нормы на протяжении всей римской истории. Если вспомнить о знакомом уже нам стремлении первых императоров связать свою власть с древними представлениями и нормами гражданской общины, становится понятным, почему они с самого начала соблюдали этот старинный обычай. На первых порах круг лиц, с которыми принцепс советовался, не был установлен официально и состоял из людей, чьему мнению император особенно доверял,— эта группа не имела даже определенного наименования, и принятое обозначение ее как consilium principis (Совет принцепса) представляет собой ученый термин нового времени. Отсюда — полная неофициальность, оперативность и деловая эффективность, отличавшая на протяжении всего I в. этот странный орган государственного управления, и отсюда же — его нейтральность по отношению к традиционной сословной системе. При Августе и Тиберии,

когда республиканские связи и самих императоров, и режима в целом были еще особенно сильны и очевидны, в нем преобладали выходцы из старых аристократических родов — Кальпурнии Пизоны, Кокцеи Нервы, Эмилии Лепиды, Сальвидиены, Виниции. Уже и в эту пору, однако, государственный опыт и зрелость суждения не рассматривались больше как монополия знати. В Совет входят всадник Меценат, «новые люди» низкого происхождения — Випсан Агриппа и Азиний Галл, просто опытные военные.

При всем своеобразии Совет принцепса не был изъят из реальной римской действительности, и процессы, характеризующие ее развитие, ясно сказывались и на нем. По мере сложения бюрократической системы управления обнаруживается стремление придать более упорядоченный, формальный характер и Совету. Помимо лиц, приглашаемых каждый раз для обсуждения данного вопроса, в нем появляются своего рода постоянные члены, входящие в Совет по должности или положению: со времени Клавдия — префект претория и префект анноны, со времени Гальбы, кажется, также консул следующего года, со времени Флавиев — дважды и трижды консулы и префект столицы, с конца века — сенатор, ответственный за римские водопроводы. Оттеснение от власти римской знати и провинциализация управления империей сказались и на составе Совета. Если при Августе и Тиберии он был в общем весьма аристократичен, то при Клавдии в нем все более заметную роль начинают играть всадники, например префект Египта с 7 по 4 г. до н. э. и префект анноны, по крайней мере, с 14 до 48 г. Гай Турраний или префект претория Лузий Гета. Примечательно, что при обсуждении положения, создавшегося в 48 г. в результате оскорбительных и опасных для принцепса действий его жены Мессалины, сначала спрашивают мнение Туррания и Геты, а не принимавших участие в этом же заседании консулярия (т. е. сенатора, который уже занимал должность консула) Ларга Цецины или трижды консула и цензора Луция Вителлия. Обсуждение этого дела в Совете принцепса показательно еще и тем, что фактически руководил его разбором императорский отпущенник Нарцисс,— он, таким образом, безусловно привлекался к работе Совета, если и не был его членом.

Тенденции, обозначившиеся при Клавдии, усилились при последующих императорах: при Веспасиане в Совет

входили отпущенник Клавдий Смирнский, выходец из социальных низов Эприй Марцелл, италики и провинциалы, при Домициане — всадник из египетских работорговцев Криспин, при Траяне — князек одного из мавританских племен Лузий Квиет и т. д.

Эта эволюция должна была бы (или, по крайней мере, могла бы) превратить Совет в послушное орудие принцепсов в их борьбе с сенатом и включить его в конфликт «ревнителей старины» и «наглецов» на стороне последних. Отдельные редкие и не всегда надежные данные о подобной ориентации Совета имеются — в нем, по-видимому, разбирались в 65—66 гг. дела Кальпурния Пизона и лиц, подозревавшихся в участии в его заговоре; на эту сторону его деятельности при Домициане намекает в своей IV сатире Ювенал. Причины подобного сползания «третьей силы» к одному из полюсов в борьбе «оппозиции» и «доносчиков» были разобраны выше. В целом, однако, деятельность Совета была шире этой борьбы и он отстоял от ее страстей дальше, чем любая другая общественная сила данной эпохи. Сферой его деятельности были, по выражению одного из древних историков, «право, внешняя политика и военные дела» [9] — коренные вопросы жизни, а главное, *развития* государства. Последнее особенно важно. Рим превращался из олигархической городской республики, хищнически эксплуатировавшей огромные захваченные территории, в мировую империю, которая, чтобы выжить, должна была внимательно и со знанием дела руководить экономическим и политическим развитием провинций. Члены Совета императора специализируются на отдельных провинциях и районах. Сначала то были римские аристократы, годами остававшиеся в качестве наместников в одной и той же провинции — Сабин в Мёзии в 11—35, Силан в Сирии в 12—17, Гай Силий в Верхней Германии в 14—21 гг. Позже в этой роли выступают уроженцы провинций, способные сообразовать местные интересы с общегосударственными. Так, член Совета египтянин Тиберий Александр был префектом Египта и военно-политическим консультантом Корбулона, а позже Веспасиана и Тита по всему переднеазиатскому региону.

Формирование империи как единого целого предполагало выработку соответствовавшей этому целому правовой системы. Соответственно неуклонно возрастает роль выдающихся юристов, теоретиков и практиков, привле-

каемых в члены Совета независимо от их происхождения. При Тиберии в него вошли крупнейшие юристы того времени — Кассий Лонгин, Кокцей Нерва (дед императора), один из создателей системы римского права — Массурий Сабин; Лонгин оставался в Совете при Клавдии и Нероне. При Домициане в него вошел Пегаз, при Траяне — Нераций и Яволен Приски. Членом Совета по положению как префект претория был замечательный мыслитель и величайший юрист древности Ульпиан. Биограф императора Александра Севера замечает, что он не принимал сколько-нибудь серьезных решений, не посоветовавшись с входившими в число его приближенных 20 видными юристами.

Законов, определявших практику престолонаследования, в Риме периода Ранней империи не существовало. Приходя к власти самыми различными путями — от принятия ее по наследству от отца (Тит) до усыновления предыдущим императором (Тиберий, Траян), от закулисных сделок (Калигула, Нерон, Адриан) до захвата престола силой (Отон, Вителлий, Веспасиан), императоры часто видели в своих предшественниках врагов. Чувство это, если дать ему волю, могло завести их очень далеко, толкнуть на отмену ранее принятых законов, нарушить преемственность власти и всего поступательного развития государства. Есть много оснований думать, что именно Совет не давал этой возможности реализоваться и обеспечивал преемственность управления империей. Выше уже шла речь о том, что члены Совета, как правило, сохраняли свое положение при смене императоров; нередко они привлекали в Совет своих сыновей и внуков. Тем самым преемственность между царствованиями и поколениями в осуществлении единой имперской политики обеспечивалась хотя бы уже чисто физически. Трижды — при Калигуле, в последние годы Нерона и в последние годы Домициана — императоры были на пороге того, чтобы оборвать эту нить, и все трое заплатили за это жизнью.

Люди, входившие в Совет, понимали, что империя важнее императора, что римский мир должен развиваться независимо от страстей и капризов того или иного правителя. «Восемьсот лет возводилось здание Римского государства,— сказал Тацит, одно время тоже заседавший в Совете,— и всякий, кто ныне попытается разрушить его, погибнет под развалинами» [10]. Поэтому при всей сво-

ей соотнесенности с придворными интересами, с террором и внутрисенатской борьбой Совет не мог никому позволить втянуть себя в них целиком. За время правления Флавиев известно 38 сенаторов — членов Совета; Адриан «в Риме и в провинциях непрестанно разбирал дела при участии консулов, преторов и самых видных сенаторов»[11]. Это не мешало тому, чтобы, как выразился однажды император Клавдий, «стягивать лучшие силы отовсюду»[12] и привлекать их к работе Совета. Сенаторы и несенаторы, римляне и провинциалы входят в состав Совета «на равных», нейтрализуя саму противоположность людей, принадлежащих римской традиции, и людей имперской новизны. Сколько бы ни входило в Совет сенаторов, то не был сенатский орган, он, напротив, в определенных отношениях заменял сенат, но это не был и орган антисенатского меньшинства. Сенаторы, всадники, иногда отпущенники, кадровые военные, провинциальные администраторы, ученые юристы не имели и не могли иметь общих интересов и общей позиции в борьбе сенатских группировок. Им было не до того. Они подготовляли переход от социального, идейно-политического и нравственно-психологического ромоцентризма (проявлявшегося либо в преданности римской традиции, либо в страстной борьбе с ней) к мировой империи с ее особой, безразличной, к полисным традициям административно-политической структурой, жизненным укладом, идейными, нравственными и эстетическими представлениями.

Часть вторая

ЖИЗНЬ

Глава третья

ИСТОКИ

Тацит родился в 50-е годы I в. н. э. В середине 70-х годов он учился красноречию у ведущих ораторов римского Форума и через несколько лет был уже известен в столице своими судебными речами. В 77/78 г. он женился на дочери консулярия Юлия Агриколы — сенатора всаднического происхождения родом из южной Галлии. О себе Тацит свидетельствует, что он пользовался расположением всех трех императоров Флавиев, последовательно продвигавших его по ступеням сенатской карьеры, но что больше всех он был обязан Домициану; к 88 г. он был членом почетной жреческой коллегии квиндецимвиров, в этом же году стал также претором и был одним из руководителей организованных Домицианом Столетних игр. После претуры он отсутствовал в течение четырех лет и вернулся в Рим в конце 93 г.; был консулом во второй половине 97 г. и во время консульства произнес похвальную речь на похоронах видного сенатора и полководца Вергиния Руфа; в 100 г. выступал в сенате в качестве обвинителя бывшего наместника провинции Африки Мария Приска; в последние годы Траяна (98—117) был проконсулом Азии. Первым произведением Тацита был «Агрикола», написанный в конце 97 — начале 98 г., «Германия» была создана в 98 г., «История» — в первом десятилетии II в., «Анналы» — после «Истории».

Скудость этих сведений — единственных дошедших до нас в прямых и бесспорных документальных свидетельствах — очевидна. Есть, однако, возможность их дополнить. Биография — всегда сгусток истории, конкретизация общественных процессов времени в судьбе человека. Соответственно и в Риме фактами ее являлись иногда общественно-исторические события, повлиявшие на человека,

даже если он в них и не участвовал, и, напротив того, обстоятельства его личного существования могли стать (или не стать) фактом биографии в зависимости от того, насколько обнаружился в них общественно-исторический смысл его жизни. Поэтому при изучении жизни Тацита есть возможность не только попытаться складывать скудные факты личной биографии в целостную картину его деятельности, но и идти обратным путем — от общих процессов времени и общего смысла его творчества к раскрытию в частных фактах жизни писателя их глубокого и подлинного исторического — а потому и биографического — значения.

1. Семья. В «Естественной истории» Плиний Старший упоминает о том, что он был знаком с семьей «римского всадника Корнелия Тацита, ведающего финансами Белгской Галлии» [1]. Отмеченное здесь сочетание родового и семейного имен — Корнелий и Тацит — уникально, что издавна заставляло исследователей видеть в знакомце Плиния близкого родственника историка — его отца, а может быть, дядю или племянника. Наблюдения над латинскими собственными именами этого периода, однако, показывают, что совпадение обоих имен у братьев, а тем более у дядей и племянников довольно редко, у отцов же и старших сыновей регулярно. Соответственно мнение о том, что историк был сыном прокуратора, стало сейчас преобладающим.

С прокураторской средой Тацита связывали и другие нити. Из прокураторской семьи галльского происхождения были жена Тацита и тесть, оказавший ему в начале его магистраторской деятельности значительную помощь; прокураторами были люди, которые с бóльшими или меньшими основаниями рассматриваются как его друзья. У нас есть поэтому основания связывать с впечатлениями юности и с влиянием семейной традиции тот образ прокуратора, который обнаруживается в сочинениях Тацита. Образ этот обладает некоторыми устойчивыми чертами: прокураторы тесно связаны с правящим домом, пользуются доверием императора, предпочитают реальную работу, исходящую из требований дня, почетной и во многом декоративной традиционной деятельности сенатора-магистрата. Для характеристики их используется относительно устойчивый круг лексики, в центре которого находятся слова industria (трудолюбие), vigor (деятельная энергия), vigilantia (бодрая готовность) и их си-

нонимы; особенно показательно первое из них. В языке эпохи оно связывалось с virtus, т. е. с идеей гражданской доблести, но с характерным смещением акцентов — в традиционном представлении о римской доблести оно подчеркивало момент выдержки и спокойного упорства, описывало доблесть как форму повседневного поведения и труда скорее, чем героического деяния. Им Тацит пользуется для характеристики людей, предпочитающих реальное дело политической словесности. Этот образ не субъективен и не произволен. В нем мы без труда узнаем разобранные выше черты, объективно присущие прокураторам как людям «третьей силы».

Происхождением и семьей, таким образом, было во многом задано Тациту характерное для него представление о достойном общественном поведении: человек реализует себя в служении государству, воплощенному в принцепсе, это служение предполагает способности, опыт, трезвое отношение к жизни и деятельную энергию, оно несводимо к придворным и сенатским интригам и потому обладает самостоятельным положительным содержанием. Тацит выходил в путь с уверенностью, что жить достойно — значит служить.

2. Родина. Свидетельство Плиния Старшего об отце Тацита дает материал для суждения не только о социальном происхождении историка, но и о его родине, которая из прямых данных нам неизвестна и которую надо попытаться определить.

Римлянин, как мы видели, всегда и в любом деле был окружен родственниками, друзьями и близкими, с которыми он советовался и на чью поддержку опирался. Эта «когорта друзей» состояла в основном из земляков. Римлянин поэтому сохранял тесную связь с родиной всю жизнь и досконально знал ее людей и места. Неизвестную нам из прямых источников родину Тацита надо искать в одной из тех областей, людей и места которой он знал особенно глубоко и полно. Таким поискам может помочь следующее наблюдение. Среди 446 упоминаемых в его произведениях географических пунктов или районов есть 26, в описании которых попадаются конкретные детали пейзажа, не связанные с общей географической картиной данной местности и не мотивированные ходом исторического повествования. «Равнина Идиставизо... расположенная между Визургием и холмами, имеет неровные очертания и различную ширину, смотря по тому,

отступают ли берега реки или этому препятствуют выступы гор» [2]; «Византий же и в самом деле стоит на плодороднейших землях и на берегу моря, отличающегося редким изобилием — несметные косяки рыбы, рвущейся из Понта, наталкиваются здесь на гряду скал, косо стоящих под водой и, отклоняясь от изгиба противоположного берега, подходят к самому порту» [3].

Есть основания считать, что такие детали встречаются в описании мест, которые Тацит знал досконально и подробно в результате личного знакомства. Они не могли быть заимствованы из использованного Тацитом источника, так как в тех случаях, когда существование такого источника бесспорно, эти немотивированные географические детали отсутствуют. Они не могли быть данью стилистическим традициям этнографических описаний, во-первых, потому, что не встречаются там, где принадлежность тацитовских сочинений к этнографической литературе не вызывает сомнений, как, например, в «Германии»; во-вторых, потому, что Тацит перерабатывал используемые им источники до неузнаваемости, полностью подчиняя их изложение своим стилистическим установкам, а эти установки требовали рассказа предельно обобщенного, без частностей, направленного на раскрытие лишь общественно-исторической и психологической сущности происходящего и потому исключавшего слишком реалистические детали. Немотивированные детали не встречаются в описании стран, где Тацит заведомо не был, и встречаются неоднократно в описании Рима и Малой Азии, где он заведомо был.

Если попытаться эти детали картографировать, то, кроме мест его службы — Рима с Кампанией и Малой Азии с некоторыми примыкающими местностями, перед нами окажутся три ясно очерченные области, в которых они сосредоточены и за пределами которых их нет: Белгика и Нижний Рейн, северо-восток Нарбонской провинции (совр. юго-восточная Франция), долина реки Пада (совр. По), или, как говорили римляне, Циркумпаданская Галлия. По тем же областям распределяются и надписи, которые исследователи связывают с именем историка. Поскольку считать Тацита коренным римлянином или выходцем из Малой Азии нет никаких оснований, родиной Тацита должен быть один из перечисленных районов.

Прокуратор Корнелий Тацит мог проживать с семьей только в официальной резиденции прокураторов Белгики

Августе Тревиров (совр. Трир). Поскольку будущий историк появился на свет в конце 50-х годов, и если, как явствует из биографии Плиния Старшего, его свидание с Тацитом-отцом относилось к концу 50-х—началу 60-х годов, наш Тацит должен был родиться и провести первые годы именно здесь. Одна любопытная деталь подтверждает сказанное. Штат прокуратора состоял из самых разных людей — чиновников, солдат и центурионов, образовывавших разноплеменную и разноязыкую массу. Больше всего, однако, среди них было местных уроженцев, и соответственно в их быту, обычаях и речи также преобладали местные элементы. Эти люди окружали резиденцию прокуратора, заполняли ее, и дети римских сановников, особенно маленькие, общались не в последнюю очередь с ними. Между тем известно, что Тацит всю жизнь говорил с легким, но отчетливо слышным акцентом. Естественно допустить, что он появился под влиянием тех, кто окружал будущего историка. Устойчивость его показывает, что Тацит жил в этой среде самое малое до 6—7-летнего возраста, когда у детей окончательно закрепляются фонематические навыки, т. е. покинул Белгику не раньше середины 60-х годов. Существование в его сочинениях рейнско-белгской группы немотивированных деталей пейзажа объясняется, скорее всего, таким образом.

Этим, однако, еще не решается вопрос о его родине, потому что «место рождения» и «родина» были для римлян разными понятиями. Император Клавдий, например, был римским патрицием сабинского происхождения, но родился он в Лугдунуме, в Галлии. Местом рождения принцепса Элия Адриана был город Рим, а родиной — Италика в провинции Бетика в Испании. В основе этого различия лежало углублявшееся расхождение между римским гражданством, становившимся по мере роста государства все более абстрактной юридической категорией, и реальными связями человека с областью и городом, откуда происходил его род. В I в. н. э. именно и только этот последний край, с которым римлянин был связан всеми нитями, начинает называться собственно родиной — patria. Корнелий Тацит родился в Августе Тревиров в Белгике, но родина его не могла находиться в этих полудиких местах, по-настоящему еще даже не романизированных. В I в. они почти не дают сенаторов и уж, во всяком случае, не дают консулов. Настоящей родиной его

был один из двух остальных районов скопления немотивированных географических деталей. Ряд исследователей высказывается в пользу долины Пада, ряд других — в пользу Нарбонской провинции; и те и другие приводят в подтверждение своих взглядов множество аргументов. Есть много данных, показывающих, что последние правы, а первые нет, причем дело даже не в логических выкладках и ученых доказательствах, а в том, что за городами, людьми и событиями Циркумпаданы у Тацита почти никогда не стоят те точные разительные мелочи, тот переизбыток необязательной информации, словом, та живая жизнь, которой так много в его рассказах о северо-восточной части Галлии Нарбонской.

Описание грабежей, чинимых солдатами императора Вителлия в северной Италии, лишено имен: «легионеры, хорошо знавшие местность, выбирали самые цветущие усадьбы и самых зажиточных хозяев, нападали на них и грабили, а если встречали сопротивление, то и убивали» [4]; грабежи тех же вителлианцев в юго-восточной Галлии Трансальпинской связаны с определенными местами, точно известными историку, несмотря на их неприметность: «город Диводур, племени медиоматриков» [5], «муниципий Лук в земле воконтиев» [6], и даже если грабеж удалось предотвратить и его вообще не было, то будет сказано, что «в городе решили оставить восемнадцатую когорту, которая и раньше стояла здесь на зимних квартирах» [7]. В соответствии с римской манерой оперировать везде, где возможно, округленными числами, географы говорили, что в Галлии обитает 60 племен [8], и один Тацит указал точное число — 64[9].

Излагая во второй книге «Истории» ход гражданской войны в Циркумпадане (между вителлианцами и сторонниками Флавия Веспасиана), Тацит не называет ни одного местного жителя; имена и сведения о жителях — даже без большой необходимости — появляются, как только заходит речь о галлах. Взбунтовавшиеся в Плаценции солдаты «не обращали внимания на центурионов и трибунов» [10] — и ни слова больше; но если предметом ненависти мятежников становятся офицеры из галлов, то Тацит упомянет, что звали их Азиатик, Флав и Руфин, что у себя дома они были вождями племен и еще до гражданской войны принимали участие в восстании Виндекса [11]. Чтобы сообщить о своей победе, флавианцы разослали гонцов в провинции, решив при этом, что «не

одни гонцы, но и молва донесут весть о победе до испанских провинций, а затем и до Британии; в Галлию же был послан трибун Юлий Кален, в Германию — префект когорты Альпиний Монтан. Вестников выбирали с расчетом произвести вящее впечатление на жителей этих провинций: Кален был из племени эдуев, Монтан — из тревиров, и оба в прошлом — вителлианцы»[12].

Перечисляя консулов 69 г., Тацит ни словом не характеризует таких видных государственных деятелей, как Аррий Антонин или Целий Сабин, но отмечает причины избрания Помпея Вописка — фигуры, по всему судя, совершенно незначительной: Вителлий сделал его консулом, «чтобы проявить уважение к жителям Вьенны»[13]. Всегда столь краткий, он посвящает три первые главы XI книги «Анналов» убийству Валерия Азиатика, первого сенатора галльского происхождения, ставшего дважды консулом, уроженца Вьенны. О временщике Гальбы Тите Винии писали и Плутарх, и Светоний, но только Тацит отметил, что он был образцовым наместником Нарбонской провинции.

В пределах Нарбонской Галлии район происхождения семьи Корнелиев Тацитов может быть сужен и уточнен. Все немотивированные географические детали располагаются только на северо-востоке области. Все дошедшие из нее надписи с именем «Тацит» сосредоточены здесь же. Кроме Среднего Рейна, только на востоке Нарбонской провинции носители имени Тацит фигурируют в надписях, посвященных местным божествам, т. е. обнаруживают связь с почвой. Из крупного города этого края Вазиона (совр. Везон-ля-Ромен) происходит широко комментировавшаяся исследователями каменная плита, поставленная неким Тацитом в честь римского бога войны Марса и местного гения — покровителя города. Родина Тацита связана, таким образом, с землями племен, заселявших указанную часть провинции,— аллоброгов, воконтиев или гельветов, и находилась в столице одного из них — Вьенне, Вазионе или Авентике.

Одна из самых устойчивых антиномий духовной истории Европы есть антиномия средиземноморского, античного, классического, и северного, романо-германского, романтического начал. В интересующую нас эпоху антиномия эта еще только складывалась и непосредственно, в массовом сознании выступала как противоположность греко-римской цивилизации и северного варварства. За

ней в ту пору еще совершенно явственно ощущалась военно-политическая реальность — борьба Рима с северными народами, прежде всего с германцами и кельтами. Эта противоположность в целом имеет прямое отношение к Тациту — и вследствие его происхождения, и с точки зрения содержания его сочинений, и в плане восприятия их последующей европейской культурой.

Из произведений Тацита первое, «Агрикола», фактически посвящено борьбе римлян с британскими кельтами, второе, «Германия»,— характеристике главных врагов Рима в Европе, германцев. В «Диалоге об ораторах» половина главных действующих лиц — «наши галлы» [14]. Одна из двух главных тем «Истории» — столкновение Рима с северным варварством. Все многочисленные упоминания о восточных галлах и германцах в первых трех книгах этого произведения образуют четкую градацию, ведущую к главному моменту — к рассказу о восстании Цивилиса. Тацит — единственный античный автор, который оставил подробное описание этой «войны, одновременно внешней и внутренней» [15], единственный, кто увидел в ней грандиозное историческое событие и знамение. Светоний и Плутарх не упоминают восстание Цивилиса вообще, Дион Кассий посвящает ему две фразы. В связи с восстанием Цивилиса Тацит первый указал на варваризацию римской армии как на важнейший политический фактор, таящий угрозу существованию империи,— события последующих трех столетий показали, насколько он был прав. Слова о римских легионерах, несущих караул у опочивален галльских вождей [16], кажутся написанными в V в.

Таких образов и описаний, оказавшихся пророческими, в «Истории» много. Обе речи, центральные для всего творчества Тацита, в которых он наиболее полно и прямо выражает свою концепцию истории — императора Клавдия в XI книге «Анналов» и полководца Петилия Цериала в IV книге «Истории»,— имеют своим непосредственным содержанием растущую роль кельтов в римской государственности и культуре. На протяжении всей жизни взгляд Тацита остается обращенным к северу, и события на Рейне занимают его лишь немногим меньше, чем события на Тибре.

Историко-литературная судьба Тацита обнаруживает любопытную связь с этой стороной его творчества. Все сохранившиеся рукописи его произведений имеют северное

происхождение — то был античный автор, которого в монастырях Германии и Швейцарии вспоминали чаще, чем на берегах Средиземного моря. В целом, однако, средневековая культура была к нему так же безразлична, как и культура поздней античности, и возрождение широкого интереса к Тациту совпадает с эпохой Реформации и Контрреформации, когда противоположность Рима и Севера вновь становится живой и мучительной проблемой. Ни у одного античного автора классической поры это противоречие, складывавшееся в первые века нашей эры на границах Римской империи, не вызывало столь острого и постоянного интереса, как у Тацита. Конфликт античного и варварского с самого начала был постоянной темой его размышлений.

3. Возраст. Главным в жизни сенатора было его продвижение по пути почестей, а оценка этого продвижения и степень его успешности во многом зависели от соответствия той или иной магистратуры возрасту лица, ее занимавшего. Чтобы понять, насколько успешно продвигался Тацит по пути почестей и какого масштаба государственным деятелем он был, надо установить, когда он родился. Исходные данные для решения этой задачи заключены во фразе из «Агриколы»: «Став консулом, Агрикола просватал за меня, в ту пору еще юношу, свою дочь». Фигурирующее в латинском тексте слово iuvenis — «юноша» встречается в произведениях Тацита часто и претерпевает в них сложную смысловую эволюцию, но возрастное его значение никогда не было для историка основным. В его книгах им обозначаются 14-летние подростки, юноши 18 лет, мужчины — 30 и даже 36-летний консулярий. Главное в семантике слова iuvenis у Тацита — представление о человеке, стоящем на пороге общественной деятельности, но не обладающем всей полнотой сил, прав и обязанностей самостоятельного гражданина. Этот главный смысл слова раскрывается в контекстах, вроде следующих: «...становясь юношами (iuvenes), которым вот-вот предстоит вступить на Форум» [17]; «юноша (iuvenis) — это тот, кто готовится к выступлениям на Форуме и ораторской деятельности» [18].

Приведенная фраза из «Агриколы» означает, что в пору консульства Юлия Агриколы, т. е. в 77 г., Тацит был готов к прохождению cursus honorum — «дороги почестей» и, очевидно, вступил на нее в следующем же, 78 г. Начальные этапы cursus'а составляли вигинтивират [19] и

(или?) военный трибунат, нормальным возрастом для занятия которых было 20 лет. Тацит, другими словами, должен был родиться около 58 г. н. э. Ряд данных подтверждает это предположение.

Тацит получил от Веспасиана сенаторское достоинство. Этой почести юноша удостаивался обычно при вступлении в совершеннолетие, т. е. на 16-м году жизни, Веспасиан же занимался пополнением сената главным образом во время своего цензорства 73/74 г. Годом рождения будущего историка и по этим соображениям должен быть 58-й или 57-й. Плиний Младший свидетельствует, что в пору его подготовки к деятельности на Форуме Тацит уже пользовался широкой известностью как судебный оратор и что они оба «примерно одного возраста»[20]. Плиний, родившийся в 62 г., мог находиться в описанном здесь положении лишь между 79 и 81 гг., т. е. уже совершеннолетним, но до отъезда в армию. Тацит в это время не мог быть моложе 23 лет, так как он успел жениться и пройти одну, если не обе, «предмагистратуру», и ему не было еще 25, так как в этом возрасте человек становился квестором, членом сената и не мог считаться ровесником «юнца», как называет себя в этом письме Плиний. Просопографические параллели также указывают на то, что описанное Плинием положение молодого, быстро завоевывающего популярность оратора было характерно для людей, непосредственно готовившихся к квестуре, т. е. 23—24-летних: перспективы и темп сенатской карьеры во многом определялись тем, чего человек успел добиться до квестуры — первой сенатской магистратуры, возрастной ценз для которой составлял 25 лет,— ибо от этого зависело, получит ли он для занятия этой должности рекомендацию принцепса; последняя же означала блестящий старт и залог ускоренного продвижения в будущем. Поэтому как раз в 23—24 года начинающий политик стремился действовать особенно быстро и энергично, подчас не стесняясь в средствах. Так вели себя, в частности, уже знакомые нам Аквилий Регул и Элий Адриан.

Еще одним путем мы снова приходим к тому, что Тацит родился в 57 или 58 г.

После всего сказанного выше о роли и месте провинциалов в эволюции римского общества и принципата I в. мы можем представить себе, к чему предрасполагала Тацита его галльская родина и провинциально-прокураторская семья, обусловленные ими окружение и перспективы

карьеры. Для сенаторов такого происхождения, если они обладали общественным темпераментом, честолюбием, умом и талантом — а у Тацита все это было в избытке,— самой прямой была дорога в сенатское меньшинство, в те сферы, где активно работали над укреплением императорской власти, помогали принцепсам справиться с аристократической оппозицией и получали за это признание и почести. Из провинциальных прокураторских кругов выходили иногда, разумеется, и люди иного толка — консервативного, вроде старшего Сенеки, или оппозиционного, вроде Юлия Грецина, отца Агриколы. Но обычной и естественной была более бурная и прямая карьера — та, которая вознесла к вершинам почета и власти галла из Немауса Домиция Афра, знаменитого оратора и не менее знаменитого доносчика времени Тиберия и Калигулы, его соперника Юлия Африкана родом с запада Нарбонской провинции, прокуратора и префекта претория уроженца Вазиона Афрания Бурра, секретаря императора Отона галла Юлия Секунда, которого Тацит называл своим наставником, и многих других. Посмотрим, далеко ли ушел Тацит по этому открывавшемуся ему пути.

Глава четвертая

ДОРОГОЙ ПОЧЕСТЕЙ

Анализ и характеристика сенатской карьеры Тацита неизменно основываются на сообщении его в «Истории» (I, 2, 3): «Не стану отрицать, что начало моему восхождению по пути почестей положил Веспасиан, Тит продолжил его, а Домициан вознес меня еще много выше». Фразу эту в настоящее время принято истолковывать так, что Веспасиан пожаловал сыну прокуратора сенатское достоинство, Тит — квестуру, при Домициане он занял следующую сенатскую должность — трибуна (или эдила), стал жрецом-квиндецимвиром и претором. Вместе с упоминавшимися выше «предмагистратурами», с бесспорно засвидетельствованными консулатом в 97 г. и проконсулатом Азии в 112/113 г. они и образуют сенаторскую карьеру — «дорогу почестей» Корнелия Тацита. В ней есть этапы, о которых не известно решительно ничего и нет материала даже для самых дерзких гипотез; четыре других этапа, однако,— включение в сенаторское сословие, претура, консулат, проконсульство — могут быть охарактеризованы на основании прямых и косвенных данных.

Флавий Веспасиан стал правителем империи летом 69 г. Провозгласили его императором легионы, и власть его на первых порах была лишена юридической и моральной санкции или опоры в общественном мнении. Чтобы справиться с этим положением, он провел множество мероприятий, в ряду которых стояла и его цензура, предполагавшая пересмотр состава сената. Он отправлял ее вместе со своим старшим сыном Титом, и цель ее состояла в создании в сенате крепкого ядра сторонников Флавиев. Веспасиан включил в число сенаторов несколько десятков человек, которые активно содействовали установлению его власти, а главное, могли и должны были содействовать укреплению ее в будущем. Тацит оказался в их числе. Веспасиан брал этих людей в сенат потому, что они обнаружили в сложных условиях гражданской войны 69—70 гг. политическое чутье и опыт, энергию и способности, и брал их для того, чтобы тут же использовать на ответственных государственных должностях. Это были, как правило, немолодые, заслуженные администраторы и воины, и попасть в курию в составе этой группы было для совсем молодого человека особой честью и залогом блестящей карьеры.

Источником наших знаний о претуре Тацита является его сообщение в «Анналах»: «Домициан также дал Вековые игры, и в них я принимал особенно деятельное участие, так как был жрецом-квиндецимвиром, а в ту пору еще и претором; говорю об этом не ради похвальбы, но потому, что эта обязанность издревле возлагалась на квиндецимвиров, а отправлением торжественных обрядов занимались преимущественно те из них, кто был и магистратом»[5]. Что такое коллегия квиндецимвиров, Вековые игры, квиндецимвир-претор?

Среди жреческих коллегий древнего Рима издавна выделялись три, которые назывались «высочайшими»: понтифики, ведавшие религиозными установлениями в целом; авгуры, по различным знамениям предугадывавшие исход задуманного народом предприятия, и толкователи Сивиллиных книг, которых при царях было два, при Ранней республике — 10, а с начала I в. до н. э.— 15, когда они и стали называться «коллегией пятнадцати» — квиндецимвирами. К «пятнадцати» обращались лишь в одном определенном случае — когда нарушения жизни общины, и прежде всего гражданские неурядицы, приобретали значительный масштаб и возникала мысль, что они не плод

деятельности каких-то зачинщиков или результат чьего-то упущения, а проявление гнева богов. Тогда по приказанию сената и в присутствии магистратов квиндецимвиры раскрывали Сивиллины книги, находили в них тексты, которые могли относиться к происходящим бедам и ужасам, и указания, как народу очиститься. Сивиллины книги были написаны по-гречески; как прорицатели будущего квиндецимвиры кое в чем дублировали гаруспиков-этрусков; важную роль в их обрядах играл культ Аполлона — все это превращало их не столько в блюстителей чистоты римской веры, сколько в специалистов по верованиям других народов. В их деятельности многое уже с самого начала предваряло атмосферу позднейшей многоплеменной Римской империи. Сосредоточение внимания квиндецимвиров на угрожающих и бедственных явлениях и апокалиптический характер Сивиллиных пророчеств сообщали всей их деятельности траурный и таинственный колорит. Сочетание всех этих исконных особенностей — архаичности, связи с иноплеменными культами, мрачной загадочности — обусловило дальнейшую судьбу коллегии.

Весной 249 г. до н. э. молния ударила в крепостную стену Рима и разрушила ее на значительном протяжении, от Коллинских до Эсквилинских ворот. О причинах несчастья и мерах, которые надлежало принять, чтобы избежать подобных бед в будущем, сенат запросил жрецов, имевших право читать Сивиллины книги, и те ответили, что должны быть принесены в жертву черные животные, что очистительные обряды должны совершаться ночью в честь Юпитера и Персефоны, богини — повелительницы теней, владычествующей над душами умерших и чудовищами преисподней, и что религиозные действа эти должны повторяться каждый век, и один раз в век, дабы ни один человек никогда не мог видеть их дважды. Празднество, получившее название Вековых игр, состоялось, но почти тут же возникли разногласия из-за того, какой интервал понимать под словом «век» — 100 лет, как было в эту эпоху уже общепринято, или 110, как полагалось по некоторым старинным преданиям. Так или иначе игры состоялись в 146 г. до н. э., о проведении их в 40—30-х годах I в. никаких сведений нет, и следующий раз их устроил в 17 г. до н. э. Август, в корне изменив при этом их характер, а заодно и характер самой коллегии квиндецимвиров. Дело в том, что Сивиллины книги хранились

в каменном ларе в подвалах Капитолийского храма, основанного, по преданию, еще в VI в. до н. э. В 83 г. до н. э. храм сгорел, и книги вместе с ним. Их стали собирать наново из тех изречений, которые сохранились в памяти жрецов, но Август вмешался и внес в текст книг ряд поправок, ему выгодных, в частности указание на проведение Вековых игр в нужное ему время.

Сами игры Август перестроил так, что на первый план теперь выступил культ Аполлона, избавителя от чумы и болезней, которому как раз в эти годы он сооружал на Палатине великолепный храм. Игры перестали выражать страх перед мрачными божествами подземного царства и должны были отныне славить Августов новый и радостный «Римский мир». Членов коллегии стали назначать теперь императоры, роль патрициев на протяжении I в. в ней неизменно сокращалась, а роль плебеев неизменно росла. Квиндецимвирами в разное время были Август, Нерон, Вителлий, Домициан; жрецы этой коллегии занимали самые высокие посты в государственной администрации, что прежде, при Республике, насколько можно судить, было категорически запрещено. На протяжении всего I в. принадлежность к квиндецимвирату отмечается в надписях сразу после консульства. Квиндецимвират стал при Августе и остался на протяжении всего I в. одной из многочисленных общественных форм, в которых древние традиции в измененном и переосмысленном виде использовались для укрепления и прославления нового режима.

Тацит, первый сенатор в роде, сын прокуратора, не достигши и 30 лет, сделался членом одной из самых значительных жреческих коллегий, которой отводилась особая роль в деле укрепления империи.

Назначение Тацита на первую среди высших сенатских должностей — претуру — тоже было необычным и тоже говорило об особом положении его среди сенаторов. Вековые игры, грандиозные по масштабу и сложные по организации, вполне очевидно, планировались заранее. Столь же очевидным был издавна существовавший порядок, согласно которому устройство религиозных празднеств входило в обязанности городского претора, а отправление обрядов на этих празднествах — в обязанности квиндецимвиров. Избрание квиндецимвира Тацита «еще и претором» было равносильно поэтому назначению его руководителем центрального пропагандистского мероприя-

тия Домицианова правления. Игры призваны были поразить современников, и цель эта была достигнута, судя по обилию откликов на них в самых разных источниках. К ним был приурочен выпуск больших серий монет, изображения на которых дают нам возможность представить себе воочию, как протекало празднество. Вот глашатай созывает народ, вот император или жрец, действующий от его имени, раздает гражданам необходимые для очистительных обрядов серу, смолу и факелы; народ вручает императору первые колосья нового урожая, император — или квиндецимвир, его замещающий,— совершает жертвоприношения, хор юношей и девушек поет Вековой гимн. Вековые игры длились трое суток, включали не только дневные, но и ночные церемонии, и Домициан физически не мог проводить их все сам. Тацит, квиндецимвир-претор, должен был, следовательно, выступать на них как ближайший коллега и заместитель принцепса, как один из первых людей империи.

Разбираемый текст показывает также, что вся эта столь удачно складывавшаяся карьера была для Тацита желанной и справедливой наградой за правильно сделанный выбор — за истовое служение государству, воплощенному в принцепсе. Первая его фраза в латинском подлиннике звучит так: Domitianus edidit ludos saeculares iisque intentius adfui, буквально: «Домициан дал Вековые игры, и я со всем внутренним пылом принял в них особенно деятельное участие». Такое участие и много лет спустя, когда создавались «Анналы», казалось Тациту заслуживающим законной гордости — он специально оговаривает, что упоминает о нем «не ради похвальбы», а лишь следуя долгу историка.

Сколько бы Домициан ни враждовал с сенатом, сколько бы ни эллинизировал формы своего правления, у него в отличие от императоров Антонинов было твердое убеждение, что укрепить режим и придать ему стабильность можно, только связав его с прошлым, с традиционными формами власти, со старинными, исконно римскими представлениями о благочестии и долге. Вопреки объективному ходу истории и собственным наклонностям он еще более старательно, чем оба первых Флавия, стремился соблюдать сенатскую процедуру, издавать законы об укреплении нравственности, преследовать подлинные и мнимые ее нарушения, чтить религиозные обряды. Для консервативно живших и консервативно мысливших вы-

ходцев из западных провинций, на которых все Флавии преимущественно и опирались, такая власть сливалась с представлением о римской старине и традициях города-государства, близких и понятных подобным провинциалам-консерваторам. Квиндецимвират был как бы нарочно создан, чтобы порождать и питать эти представления. Он, с одной стороны, уходил корнями в глубочайшую римскую древность, с другой — изначально был связан с иноплеменными верованиями и культами и выражал характерную для римской гражданской общины способность к духовной экспансии и усвоению чужого и нового. Он был одним из тех участков государственной жизни, где в первую очередь создавалось впечатление, что принцепсам удалось осуществить единство римской традиции и мирового развития, нравственности и деятельности, что служба им — это «трудолюбие и деятельная энергия», отданные на укрепление исконных римских ценностей,— практическая, живая virtus. В преторский год Тацита этим надеждам был нанесен тяжелейший удар.

По всем самым выгодным для Домициана расчетам Столетние игры приходились на 93 г. Он тем не менее перенес их на 88 г., так как, очевидно, не мог ждать дольше. Противоречие между имперски-эллинистическими, чисто монархическими тенденциями режима и его консервативно-римской идеологической и моральной основой обострилось до предела и требовало немедленного разрешения. Игры с их ритуальной римской архаикой, в которых в то же время ясно ощущался сильный восточно-греческий элемент, были последней крупного масштаба попыткой Домициана отстоять противоречивое единство Города и империи как основу флавианской государственности.

Сбыться его планам суждено не было. Игры состоялись в разгар лета, а уже зимой восстали четыре легиона Верхней Германии во главе с наместником провинции Антонием Сатурнином. О нем мало что известно, но, кажется, он был из людей, близких к власти,— приближенный Домициана, участник его распутных развлечений, на этой почве с ним и поссорившийся. Выше уже говорилось, что, хотя нет почти оснований считать, будто за Сатурнином стоял какой-то сенатский заговор, все, что было направлено против принцепса и его самодержавия, воспринималось в тех условиях только как выгодное сенату и исходящее от него. Восстание еще до прибытия Доми-

циана в провинцию подавил наместник Нижней Германии Буций Лаппий Максим. Едва вступив в лагерь побежденных, он прежде всего уничтожил архив Сатурнина. Максим, очевидно, понимал, что любое упоминание кого бы то ни было в документах, там хранившихся, ставило человека под удар. Но Домициан не стал заботиться о юридических доказательствах — черта была перейдена, несовместимость его политики с целями и надеждами тех, кто окружал его в курии и даже на Палатине, стала отныне очевидной. Казни прокатились по Риму и провинциям, репрессии ширились, переходили в демонстративное нарушение римских законов, традиций и норм...

Моральный кодекс, основанный на «трудолюбии и деятельной энергии», обнаруживал теперь то внутреннее противоречие, которое объективно было заложено в нем с самого начала. Человеческая деятельность может быть практически эффективной и исторически действительной, если в ней реализуются энергия, талант и знания, направляемые убеждением в правоте своего дела, т. е. в конечном итоге если в ней реализуется нравственный потенциал личности. Основой его для людей «третьей силы» с их культом практической работы на пользу государства на протяжении многих лет было убеждение в том, что принцепсы в своей политике успешно объединяют строительство мировой империи и верность общественным устоям, сложившимся в ходе истории Рима, и императоры сознательно поддерживали это убеждение. В основе его, однако, лежала иллюзия, так как развитие империи постепенно и неуклонно должно было разрушить полисную систему ценностей, что и выявилось со всей очевидностью в последние годы Домициана. Исторический смысл этики «трудолюбия и деятельной энергии», ее будущее и ее истина предполагали в тенденции упразднение самого противоречия между полисной моралью и потребностями мировой империи и должны были раскрыться поэтому лишь при Антонинах.

Пока это противоречие существовало, т. е. на протяжении всей молодости Тацита, «третья позиция», как мы видели, была соотносительна с первыми двумя, образовывала с ними единую систему, что и делало возможным их соединение, некоторый средний путь. Политика Домициана в 88—96 гг., направленная против старых общественных ценностей и в то же время сохранявшая за ними значение официально признанной нормы, делала это

соединение в теории утопическим, а на практике невозможным. Тацит-претор мог еще объяснять такое положение личными особенностями Домициана, Тациту-консулу предстояло убедиться в том, что систему общественных норм и ценностей, противоречиво связанную с городом-государством, подрывал и уничтожал не столько Домициан, сколько объективный ход истории.

Тацит стал консулом в 97 г. — в первый год династии Антонинов. Список консулов 97 г. выглядел следующим образом: ординарии, т. е. консулы, открывавшие год,— Кокцей Нерва, Вергиний Руф (оба в третий раз); суффекты, т. е. консулы, правившие несколько месяцев в течение года после ординариев,— Анний Вер и Нераций Приск, Домиций Аполлинар с неизвестным коллегой, Глитий Агрикола и Корнелий Тацит, Лициний Сура и Аррий Антонин (во второй раз). Кто бы ни выдвигал этих сенаторов в консулы, еще Домициан или уже Нерва, окончательный список утверждался, как всегда, в январе, т. е. при Нерве. Список консулов (так называемые «фасты») первого года новой династии представлял собой продуманную декларацию нового режима.

Две особенности отличают консулов 97 г. Первая — почти все они принадлежат к ведущим государственно-политическим деятелям времени. Нерва был признан лучшим кандидатом в принцепсы всеми политическими группами, подготовившими и осуществившими устранение Домициана; Вергинию дважды предлагали верховную власть легионы, и он дважды от нее отказывался, что еще при жизни сделало его личностью почти легендарной. Суффекты, непосредственно их сменившие, были знамениты как юристы, и имена их вошли в Дигесты; они представляли направление деятельности нового режима, связанное с созданием кодифицированной системы римского права, которое день ото дня приобретало все большее значение. Один (Вер) стал впоследствии префектом Рима, другой (Приск) — официально признанным крупнейшим правоведом эпохи. Глитий Агрикола и Лициний Сура были полководцами, обладавшими опытом и талантом, необходимыми для ведения военных действий крупного масштаба и решения неотделимых от них политико-дипломатических задач. Фасты 97 г. призваны были показать, что новый режим, объединяя в руководстве людей разных поколений, направлений и типов биографии, неизменно опирается на наиболее значительных и извест-

ных государственных деятелей. Тацит тем самым признавался одним из них. Добросовестное и успешное служение государству продолжало оставаться ведущей чертой его жизни и деятельности.

Вторая особенность консулов 97 г. состояла в том, что среди них не было ни одного доносчика, но и ни одного человека, хоть отдаленно связанного с оппозицией; по характеру своей прежней деятельности при Нероне или Флавиях все они представляли различные вариации «третьей силы». В обеих первых, т. е. наиболее важных, парах были объединены патриций, потомственный аристократ (Нерва, Приск) и homines novi (Вергиний Руф, Анний Вер). Конфликт, игравший на протяжении всего I в. столь важную роль, между знатностью, ассоциировавшейся с представлением о республиканизме, и верностью принципату, предполагавшей вражду к сенатским традициям, объявлялся недействительным. Ординарные консулы были известны своей верностью принцепсам и услугами, им оказанными: Нерва — в 65 г. при подавлении заговора Пизона и при расхождении Флавиев с сенатом в 71 и 90 гг., Вергиний — при устранении в 67 г. обвиненных в заговоре братьев Скрибониев и при подавлении в 68 г. восстания Виндекса. В то же время при Флавиях оба считались personae non gratae — Нерва был выслан в 94 г. из Рима, Вергиний все 27 лет их правления провел в добровольном удалении от дел.

Первые суффекты были юристами, т. е. людьми, практически работавшими над превращением провинций, подчиненных и потенциально враждебных Риму и римлянам, в единое упорядоченное римско-эллинистическое государство. Глитий Агрикола и Сура как полководцы стояли в стороне от борьбы сенатских группировок, были преданы если не самому принцепсу, то его делу, а главное, выше всего ценили тот образ жизни, который он им предоставлял — походы, лагеря, удаленность от сенатски-придворных интриг, осязаемость врага, непреложность воинских приказов — все обычные преимущества простых целей перед неясными. Оба прошли ускоренный cursus, после претуры командовали легионом, оба были наместниками Белгики, когда у принцепсов возникала необходимость особенно бдительно следить за германскими армиями и их командующими, и оба отличались обилием боевых наград. Тацит стоит в том же ряду — современники воспринимали его как человека «третьей силы».

На консульские месяцы Тацита приходится центральное событие правления Нервы — мятеж преторианцев. Он плохо освещен в источниках, но, насколько можно судить, смысл событий и ход их таковы. Преторианцы были разъярены убийством Домициана, увеличившего им жалованье и вообще, видимо, пользовавшегося среди них популярностью. Кроме того, они вскоре поняли, чем грозит им политическая программа Нервы, предполагавшая постепенное сведение на нет вражды принцепса и сената, а тем самым сокращение роли террора и, следовательно, его орудия — преторианцев. Они поэтому легко поддались подстрекательствам своего префекта Касперия Элиана и летом 97 г. восстали, требуя казни убийц Домициана. Нерва категорически отказался выполнить их требования, успокоил солдат подарками, но от всего пережитого заболел, и вскоре, в сентябре или начале октября, мятеж поднялся вновь. Нерва был «осажден, захвачен в плен, ввергнут в заключение» [6] и под угрозой расправы вынужден выдать людей, непосредственно причастных к гибели последнего Флавия. Они подверглись жестоким истязаниям и были убиты чуть ли не у него на глазах. Ситуация стала критической — Нерва больше не контролировал положение; казалось, что он вот-вот отречется от престола. Однако в конце октября он ответил неожиданным усыновлением Траяна, стоявшего в это время во главе легионов Верхней Германии, и провел церемонию адоптации на Капитолии и в сенате. Акт этот, как и действия преторианцев, вызвал острый интерес и волнение римского плебса. Несмотря на подчеркнутую легальность оформления, предпринятый Нервой шаг был чрезвычайным и вынужденным — Траян, по-видимому, об усыновлении ничего не знал. В письме престарелого принцепса, извещавшем его об этом, приводился стих Гомера: «Слезы мои отомсти аргивянам стрелами твоими». Усыновление прошло гладко. Некоторое время спустя Траян вызвал к себе в Германию Касперия с приближенными и казнил их.

Значение этого эпизода и для истории империи, и для Тацита трудно переоценить. Впервые солдаты выказали свое презрение и совокупную ненависть и к сенату, и к императору, и к государству в целом, а принцепс — все свое бессилие. Это был если не пролог к III в., то первое отдаленное его предвестие. Как консул Тацит был непосредственным свидетелем и участником событий. Ни в другое время в Риме, ни в армии или в провинциях в

годы его магистратской службы не отмечаются сколько-нибудь заметные солдатские или народные волнения, и описания их, столь частые в его произведениях, столь детальные, яркие и личные, должны восходить к впечатлению, оставленному 97 г. Оно было, по-видимому, громадным. Насилия своевольной солдатни и бушевания городской толпы, при первой возможности сливающиеся в единую фантасмагорию легкомысленной и зверской жестокости, лишенные плана и цели, успокаивающиеся так же беспричинно, как и вспыхивающие, проходят через все историческое сочинение Тацита и составляют их лейтмотив, навязчивый образ. События 97 г. сделали окончательно ясным то, что предчувствовалось давно, начиная с 88—89 гг.,— полный, последний распад в практической жизни и в повседневном поведении того бледного, остаточного единства граждан и города-государства, которое воплощалось в формуле res publica Romana.

Прежний смысл «третьей силы» — соединение веры в старую римскую систему ценностей и деятельности по укреплению принципата и империи — становился теперь окончательно невозможным. Для коллег Тацита по консульству это означало упразднение обоих внутренне нераздельных полюсов былого противоречия, самой исторической ситуации, их порождавшей, и включение в службу принципату в его новой форме — принципату, которому вскоре предстояло защищать уже не Рим от империи и не империю от Рима, а весь синкретический греко-римский мир от сил, надвигавшихся на него извне. В новых условиях эти люди служат еще успешнее, энергично идут вперед, дальше и выше. Сура вскоре стал трижды консулом и фактическим соправителем Траяна, Нерация Траян прочил себе в преемники; Анний Вер сделался трижды консулом и префектом Рима, Марк Аврелий, император, был его внуком; Глитий Агрикола кончил как дважды консул и префект Рима. Они не были исключениями, тот же характер приобретает в эти годы биография многих других сенаторов. Cursus Тацита чем дальше, тем яснее обнаруживал совсем иной внутренний смысл. Перед тем как обратиться к этому вопросу, необходимо завершить рассказ о продвижении Тацита по «дороге почестей» и рассмотреть с этой целью проконсулат Тацита в провинции Азия.

Распространенное представление о том, что назначение на эту должность целиком зависело от возраста и жребия,

а сам проконсулат был почетной синекурой, для описываемой эпохи не соответствует действительности. Императоры контролировали назначения в эту важнейшую провинцию, во-первых, производя их иногда без жеребьевки; во-вторых, допуская к жеребьевке без строгого учета возраста; в-третьих, выплачивая сенаторам, претендовавшим на проконсулат, но императорам нежелательным, отступную сумму в миллион сестерциев. Чем ближе к началу II в., тем шире императоры пользовались этими возможностями, чтобы назначать в Азию особенно доверенных людей. Это было обусловлено постепенным обострением положения на Востоке. Именно в эти годы правивший Парфией Пакор устанавливает связи с Децебалом, создателем на территории нынешней Румынии могучей державы даков, и, кажется, с Юлием Савроматом, вассальным Риму царем причерноморского государства — Боспора Киммерийского. Это была не просто очередная дипломатическая комбинация. Коалиция, которая могла здесь сложиться, была для Рима опаснее германцев, и вслед за Траяном не один римский император отправится воевать на Восток, чтобы оттуда не вернуться,— Макрин, Гордиан, Валериан, Аврелий Кар, Констанций, Юлиан. Поход Траяна был первым в этом ряду, и готовился он тщательно и заранее — по крайней мере с 111 г. На 111/112 г. наместником Азии становится Фабий Постумин — опытный политический и военный деятель, уже выполнявший в 103 г. в качестве консульского легата Нижней Мёзии поручения по подготовке дакийских кампаний Траяна и обеспечению тылов его армий. Парфянский поход Траяна начался осенью 113 г., и подготовка его должна была достичь своей самой напряженной фазы в 112 и начале 113 г. На этот-то период проконсулом Азии и назначается Корнелий Тацит. Для очень ответственного государственного поручения нужен был политический деятель, доказавший, что он способен с ним справиться. Тацит был таким деятелем.

Проконсулат Азии завершает известный нам cursus Корнелия Тацита. Если попытаться теперь определить его общий характер, обнаруживается, что в основе его лежит явное противоречие. С одной стороны, это cursus человека, рассматривающего государственную службу как дело своей жизни. Впечатление, будто продвижение римского сенатора происходило само собой и «никак не зависело от личных достоинств кандидатов» [7], основано на недоразу-

мении. Сенаторов было 600, а квесторов — 20, преторов — 18, консулов — от 6 до 10, проконсулов сенатских провинций — 2. Лица, рекомендованные принцепсом, шли вне очереди, отсев был громадным, продвижение требовало богатства, связей, способностей и, главное, несгибаемого упорства, энергии, веры в жизненную важность магистратской карьеры. Для того же, чтобы не просто пройти полный cursus, а выдвинуться в число руководящих государственных деятелей, все это требовалось вдвойне и втройне. Тот факт, что почти на каждом этапе своей сенатской карьеры Тацит оказывался непосредственным участником решающих исторических событий, не может быть простой случайностью. Это положение требовало особого отношения императора, близости к нему, которой надо было добиться, предполагало принадлежность к узкому кругу лиц, практически себя зарекомендовавших, доверенных и проверенных. В разное время на протяжении своей жизни Тацит был коллегой или непосредственным сотрудником Домициана, Нервы, Траяна, Фабриция Вейентона, Юлия Фронтина, Вергиния Руфа, Цельза Полемеана, Лициния Суры, Глития Агриколы, Анния Вера, Яволена и Нерация Присков — самых «немногих и всевластных» [8].

Но не менее очевидно и другое. Из перечисленных только что двенадцати человек двое стали из сенаторов принцепсами и еще двое в принцепсы намечались, пятеро были трижды и один дважды консулами, двое — префектами Рима, пятеро — членами императорского Совета, пятеро командовали группами армий, имена троих вошли в Дигесты. Вероятность того, что Тацит был деятелем такого же масштаба и лишь случайно имя его не сохранилось в документах и исторических сочинениях, близка к нулю. Имя Тацита не упоминается в них потому, что он не был деятелем такого масштаба. Не был, хотя явно мог им быть. Среди лиц, принятых одновременно с ним в сенат, одни, как Юлий Цельз Полемеан, уже в молодости выполняли чрезвычайные поручения в провинциях, становились экспертами и советниками императора по целым районам империи; другие, как Анций Юлий Квадрат, присоединяли к подобной карьере еще и повторный консулат; третьи, как Яволен Приск, были одновременно полководцами, крупными администраторами и великими юристами, создателями системы римского права. Тацит не стал ни тем, ни другим, ни третьим. На следующем рубеже он

тем не менее опять среди самых ярких и самых перспективных. Среди квиндецимвиров, его коллег, половина были уже консуляриями, не меньше трети — патрициями, в их число входили Юлий Фронтин и Фабриций Вейентон — оба трижды консулы. И снова дальнейшая карьера его идет вне явно обозначившегося русла — ни патрициата, ни вторичного консульства. Во время претуры и консулата, во время проконсульства, как мы видели,— то же положение и с теми же результатами. В магистратской карьере Тацита ясно обнаруживается противоречие между уровнем ответственности, которой его неизменно облекают, или лиц, которые его окружают на каждом этапе, и характером самого его cursus'а — ровного, очень успешного, очень «высокого», но лишенного того блеска и экстраординарности, которыми отмечен путь его коллег. Если бы это противоречие объяснялось неспособностью Тацита удержаться на уровне ответственности и окружения, ситуация не могла бы повторяться столь систематически — в 74, 88, 97, 112 гг. Оно, по-видимому, может иметь лишь одно объяснение: государственная деятельность была для него формой реализации себя и безусловной жизненной ценностью, но не всего себя и не единственной ценностью.

Глава пятая

ТАЦИТ И ПРОВИНЦИИ

Тема римских провинций, за которой постоянно ощущается другая, более широкая и значительная — «Рим и варвары», привлекала Тацита всю жизнь. Устойчивый интерес к северным окраинам империи и пограничным народностям и уникальные познания его в этой области предполагают личную, биографическую связь историка с провинциями, помимо той, о которой шла речь выше.

1. Район «специализации». Деятельность римского сенатора протекала частью в столице, частью вне ее, в провинциях или в армии. Официальные обязанности вне Рима Тацит выполнял, по-видимому, четыре раза. О его пребывании в армии в должности военного трибуна в конце 70-х годов не известно ничего; о проконсульстве в Азии уже говорилось. Наиболее важными и трудными для исследователя являются две другие его отлучки из столицы — одна между 100/101 и 104/105, другая — между 89 и 93 гг. Первая из них далеко не бесспорна. Предположение о том, что она вообще имела мес-

то, основано на письме Плиния Тациту, которое открывается фразой: «Я радуюсь, что ты благополучно прибыл в столицу» [1]. Содержание письма показывает, что Тацит вернулся откуда-то издалека, слова о благополучном прибытии — что дорога была сопряжена с опасностями и неудобствами. Выступление Тацита в сенате по делу Мария Приска в январе 100 г. образует terminus post quem этой далекой отлучки, датировка IV книги «Писем» Плиния 104/105 г. — terminus ante quem. Римский сенатор рассматривался как должностное лицо, постоянно находящееся при исполнении служебных обязанностей, и не мог отлучаться из Рима произвольно. Любое длительное отсутствие его в столице могло объясняться только отправлением магистратуры в провинции. В данном случае наиболее соблазнительное предположение состоит в том, что Тацит был между 101 и 104 гг. наместником консульского ранга в одной из заморских провинций, так как представление об опасном путешествии связывалось для римлян прежде всего с передвижением по морю. От подобного допущения, однако, приходится, скорее всего, отказаться, поскольку таких провинций было лишь две — Британия и Сирия, ни по одной из которых Тацит не обнаруживает никаких специальных знаний и ни в одной из которых он, судя по этому, не был. Единственные императорские провинции консульского ранга, которые Тацит знает досконально, — обе Германии. Путь оттуда был если не опасен, то достаточно долог и труден, чтобы оправдать слова о «благополучном прибытии».

В пользу предположения о службе Тацита в эти годы в одной из германских провинций говорит, во-первых, доподлинное, изнутри, знание лагерного быта, которое он обнаруживает в крупных исторических сочинениях, появившихся после 105 г., и которого нет в ранних произведениях, написанных до 99 г.; прифронтовыми и в этом смысле «лагерными» были прежде всего именно германские провинции; во-вторых — наличие в описании германских провинций в «Истории» и «Анналах» тех немотивированных географических деталей, о которых шла речь в связи с родиной Тацита и которые отсутствуют в «Германии», где, если бы Тацит лично знал страну уже в 90-е годы, они были бы наиболее естественны; в-третьих, в произведениях Тацита ясно ощущается необычная осведомленность его как историка в делах на германо-галльском пограничье и особый интерес к ним. Эти сообра-

жения дают возможность предполагать, что Тацит был наместником консульского ранга в одной из провинций Германии в 101—104 гг., хотя и не позволяют утверждать это сколько-нибудь решительно. Они, однако, во всяком случае, указывают на связь его с определенной частью империи, а тем самым подводят нас к вопросу о «профиле» его провинциальных магистратур и соответственно об отсутствии его в Риме в 89—93 гг.

Со времени Флавиев принцип «специализации» на тех или иных районах империи, прежде существовавший для прокураторов, распространяется также и на некоторую часть сенаторов. Учитывая все сказанное выше в связи с родиной Тацита и с той ролью, которую играют в его творчестве проблемы Галлии и Германии, вряд ли есть основания сомневаться, что районом «специализации» Тацита был Нижний и Средний Рейн и примыкавшие к нему земли. Мысль о том, что именно здесь провел он 89—93 гг., сейчас принята почти всеми исследователями. Служба Тацита в провинциях протекала в местах, хорошо ему известных с детства и юности,— в Галлии, Белгике, в пограничных с Галлией германских провинциях. Она дала ему запас наблюдений и сведений, занявших большое место в его творчестве; эти наблюдения и сведения касались не только административной стороны дела, а раскрывали перед ним внутренние исторические проблемы римского господства в провинциях, формировали его взгляды на общественное развитие в целом.

2. Страна контрастов. Земли, ограниченные на западе Роной, на севере Соной и швейцарскими озерами, на востоке Альпами и на юге течением Дюрансы, по крайней мере, с VI в. до н. э. были местом взаимодействия распространявшейся с юга эллинско-средиземноморской цивилизации и шедших с севера исконных кельтских влияний. Родной край Тацита представлял собой рубеж, разделявший эти два мира. На юг от него лежала приморская полоса с классическим средиземноморским климатом — жарким сухим летом, мягкой зимой, обильными дождями весной и осенью. Дальше к морю уходила равнина, чем ближе к Альпам — все более всхолмленная, чем выше по Роне — все более сухая, продуваемая обжигающим очистительным мистралем.

Иным дыханием веяло на этот край с севера. Холмистая, местами переходящая в гористую, заросшая труднопроходимыми лесами страна простиралась от Лиона на

запад к океану и на север к Рейну. Людям средиземноморской культуры она представлялась антиподом их мира, неведомой и таинственной ледяной пустыней. «Зима здесь долгая и холодная,— писал один из них,— суровая до крайности. Иногда небо окутывается тучами, но из них не льется дождь, а сыплется обильный снег. В ясные дни земля покрывается льдом, от невиданных морозов вода в реках твердеет и образует естественные мосты. Не только обычные путники, которые странствуют кучками по нескольку человек, могут переходить по ним реки, но и десятки тысяч солдат с их поклажей и гружеными повозками пересекают реки по льду, не подвергаясь ни малейшей опасности» [2].

Противоположность сказывалась не только в климате, противоречие было здесь всеобщим законом, атмосферой жизни. Понятия «юг» и север» были насыщены этническим и историко-культурным содержанием. Южная прибрежная полоса уже с VII—VI вв. до н. э. начала покрываться греческими колониями. Мастрамел, Массилия, Гланон, Никея и другие города стали проводниками средиземноморских — эллинских, этрусских, италийских — культурных влияний. Вплоть до римского завоевания и даже после него здесь широко пользовались греческим алфавитом, чеканили монету с греческой легендой, учили детей в школах, устроенных на греческий лад. Огромные территории, подступавшие к интересующему нас району с севера и запада, были, напротив того, издавна заселены кельтскими племенами, которые в течение многих веков противостояли грекам и римлянам.

На кельтском севере изначально отсутствовало то главное, что отличало в глазах греков и римлян цивилизацию от варварства,— города. В прирейнских землях до походов Друза в 13—11 гг. до н. э. не было ни одного поселения городского типа, все они развились из римских военных лагерей или были построены римскими колонистами. В остальной части страны доримские города представляли собой лишь временные убежища, куда стекалось в минуту опасности окружающее население. Там, где существовали своего рода постоянные города, они не имели ничего общего с римским представлением о противопоставленном природной дикости архитектурно организованном, очеловеченном пространстве, а были всего лишь скоплениями обиталищ, сложенных из дерева и глины. Святилища местных культов, отражая верования галлов

и особенности их цивилизации, тоже резко отличались от греческих и римских храмов юга. Вместо вытянутого прямоугольника каменного храма — круглые, квадратные и восьмиугольные, сложенные из дерева павильоны; вместо вынесенного вперед многоколонного портика — окружающая павильон крытая галерея; вместо статуи божества, которому посвящен храм,— невидимый и подчас никак не изображаемый дух местного источника или лесной заросли.

Эти противоположные влияния скрещивались и переплетались в том пограничном районе, с которым связана своим происхождением семья Корнелиев Тацитов. К середине I в. н. э. взаимодействие обоих элементов приобрело устойчивый характер, и население края с этого времени справедливо называют галло-римлянами.

Реальными носителями римской цивилизации были колонисты, и прежде всего уволенные в отставку легионеры. При демобилизации такой колонист получал земельный надел. Надел этот, иногда сразу, иногда после бесплодных попыток придать ему классически римскую геометрическую форму, сводился к природным границам древнего кельтского поместья. Именно здесь происходило то смешение бытовых форм, производственных навыков и языков, которое так характерно для галло-римской цивилизации. Галльские слова, вошедшие в народную латынь, в основной своей массе — слова крестьянского быта и сельского производства: alauda — «жаворонок», camisa — «крестьянская рубаха», gamba — «бабка лошади» и т. д. Названия поместий, принадлежавших римским колонистам, отражают тот же процесс. Имена французских деревень часто напоминают янтарь, в котором застыли доисторические насекомые,— в них тоже спит живое прошлое. Увольнялись из армии ветераны; одного звали Солемнис, другого Альбиний, третьего Флор, четвертого Габиний; выделенные им угодья представляли собой древние галльские урочища, названия которых кончались исконным кельтским суффиксом -ac(-us), и оба элемента — римский и галльский, пришлый и коренной,— сплелись в названиях, до сих пор заполняющих карту Южной Франции: Солиньяк, Обиньяк, Флориак, Габиньяк.

Переплетение местного и римского проявлялось и в одежде. Галлы продолжали носить штаны, неведомые грекам и римлянам и столь их поражавшие, но поверх очень скоро стали надевать тунику. Прошло немного времени,

и римские туники стали здесь носить по-галльски — одну на другую, выпуская подол и рукава нижней из-под верхней, оторачивать выпущенный край мехом, шерстью, бахромой, делать рукава длинными. Эти галльские особенности постепенно проникли в Италию, а затем вернулись оттуда на родину уже как римская мода. В результате щеголи, чтобы выглядеть особенно столично, надевали галльскую тунику с рукавами; слуги, сопровождающие ехавшего с охоты богатого галла, если судить по сохранившимся рельефам, мало чем отличались от италийских рабов; пестрый галльский плащ — сагум — постепенно становится излюбленной верхней одеждой римских легионеров.

Люди, носившие галло-римскую одежду, жили в галло-римских домах. Отличительными особенностями галльского жилища до прихода римлян были: большое общее помещение, объединявшее всю семью; открытый очаг как непременная принадлежность подобного «зала»; обыкновение как бы слеплять такие комнаты-хижины, образуя общий дом, рассчитанный на множество семей. Со времени Ранней империи эти местные черты причудливо соединяются с греко-римскими формами архитектуры и интерьера. Дома-особняки с атрием и перистилем широко распространяются в городах Нарбонской провинции, но, подчиняясь исконному галльскому обыкновению, подчас сцепляются в своеобразные жилые блоки. Парадные просторные столовые — экусы, нередкие в италийских особняках I в., казались галлам чем-то вроде их привычного зала; в экусах поэтому начинают устраивать большие открытые очаги, и в таком виде они становятся кельтской принадлежностью римского особняка. Еще Сидоний Аполлинарий, поэт V в. н. э., описывая свою галльскую виллу, рассказывает о «столовой, где огонь, столь часто пылавший в сводчатом очаге, оставил на всем слой сажи» [3].

Синкретизму в материальной жизни соответствовал синкретизм в духовной сфере, прежде всего религиозный. Древние кельтские боги сливаются с наиболее приближающимися к ним в народном сознании богами греко-римского пантеона. Галло-германский Тевтат слился с Меркурием и стал как бы двуединым богом цивилизации, мира и труда. Самого Меркурия начинают изображать на кельтский лад — с рогами, имя его обрастает галльскими эпитетами — Arvernorix (племени арвернов),

Visucius (мудрый). Этот бог с римским именем, галльским обликом и галло-римским содержанием необычайно популярен в Галлии — около 450 надписей и 350 изображений его рассеяны по всей стране.

Единство галльского и римского начал не вело, однако, к их взаимному упразднению и растворению в чем-то третьем, несходном с образовавшими его компонентами. Суть духовной ситуации, в которой в I в. находились здешние галло-римляне, заключалась в том, что обе эти жизненные стихии выступали в постоянном взаимодействии и сопоставлении, и, чем более тесным было взаимодействие, тем четче становилось сопоставление, тем острее чувство как бы двойного бытия. Римляне, например, энергично прокладывали дороги и сооружали много мостов. Строились эти мосты обычно на месте старых кельтских бродов, которые тоже продолжали служить для переправы. Во время одной и той же поездки человек пользовался дарами римской цивилизации и тут же — дарами кельтских божеств, чьими созданиями, по общему убеждению, были броды. Ни мосты, ни броды не представлялись ему обезличенными «дорожными сооружениями». Первые были связаны с римскими солдатами и чиновниками — с властями, которым за каждый переезд надо было уплачивать подать, вторые — с разлитыми в водах и зарослях, журчащими и шелестящими древними кельтскими полубогами-полудухами. Последние были не менее реальны, чем первые, и расплачиваться с ними надо было точно так же: возле одной из подобных переправ на дне реки в наши дни найдено 17 тыс. римских и галльских монет — приношений богине брода.

3. Цена цивилизации. Противоречия местной жизни обнаруживали не только свое единство, но и свой антагонистический характер. К I в. н. э. средиземноморское влияние, воплощенное в цивилизации покоривших край римлян, поддерживаемое и направляемое ими, было преобладающим. Однако ушедшая с поверхности и загнанная в глубину кельтская стихия давала себя знать постоянно и во всем. Основой романизации был прежде всего сам город, город как таковой, построенный всегда по единому плану, с магистралями «север—юг» и «восток—запад», с форумом, храмами и базиликой у места их пересечения. Жизнь сельского населения протекала в ограниченных естественными рубежами мелких ячейках территории, сохранившихся здесь до сих пор как

наиболее реальные единицы географии и этнографии, которые французы называют pays и одна из которых никогда не бывает похожа на другую. Галльский язык, которым пользовались в деревне, был диалектально дробным, царившая в городах и насаждавшаяся через школы латынь была грамматически упорядоченной и — в литературной своей форме — вечной, неизменной, единой на всей территории мировой империи. В городе, таким образом, главным было: «регулярность», разумная упорядоченность, единообразие и система; главным в сельской местности — дробность бытия, неповторимая индивидуальность всего местного, особенного, отдельного.

Право оставаться самим собой — это и есть свобода, и насаждение римского единообразия непосредственно выступало как угнетение. Земля покоренного племени делилась на геометрически правильные прямоугольники, которые распределялись по строгой иерархии: лучшая — ветеранам, худшая — галлам, обрезки — арендаторам. Сами племена делились на категории — союзные, свободные, податные. Подати платили в соответствии с установленными квотами: 2,5% от ввоза и вывоза, 5% на наследство, 5% за отпуск раба на волю, 1% на продаваемые товары, не говоря уже об общих прямых налогах — основном и подушном.

Власть величественного мирового абстрактного единообразия, подавлявшего пеструю галльскую старину, все местное и исконное, опиралась на прямую военную силу, и забыть об этом никому не было дано ни на мгновение. На побережье Средиземного моря, у Альп, стоял 40-метровый трофей Августа с надписью, где перечислялись покоренные римлянами местные племена. В Араузионе (совр. Оранж) на триумфальной арке были воспроизведены в мраморе отрубленные головы галльских вождей. В театре того же города в глубине сцены лицом к зрителям постоянно стояла огромная статуя императора в полном вооружении. Периодически страну охватывали восстания: в 21 г.— Сакровира, в 68 — Виндекса, в 69 — Марикка, в 70 — Цивилиса. Восстания неизменно подавлялись, но ощущение жестокости и бесчеловечности римской власти, напора и силы, с которой все местное, корневое, свое стремилось выбиться из-под этого пресса, было всеобщим.

К нему присоединялось, впрочем, и другое чувство. При всем гнете и насилии римское господство означало

рост богатства, распространение цивилизации, усложнение жизни и труда, торжество над хаотическими силами природы. Насильственно насаждаемая римская государственность воспринималась как плата за приобщение к классической античной культуре.

Центральным образом галльской мифологии и теогонии была Земля. В ее недрах обитал Суцелл — главный бог земных сил, плодородия и мертвых. Культ земли и мертвых порождал эстетизацию смерти, ритуальное расчленение трупов, поклонение мертвым головам. В культовых залах святилищ, в нишах каменных столбов грубыми гвоздями прикреплялись отрубленные человеческие головы. Собственноручное убийство осужденных судом друидов входило в обязанности членов этой древней галльской жреческой коллегии. Духовное и эстетическое представало как противоестественное. Боги изображались в виде полулюдей-полуживотных, подчас с тремя лицами на одной голове, в виде змеи с бычьей головой, быка с тремя рогами. Древние авторы говорят о расцвете у галлов особого красноречия — нарочито темного, изобилующего гиперболами, причудливыми образами.

Все это было в корне противоположно тому строю представлений, который несли с собой римляне с их театрами, храмами, статуями антропоморфных богов, с публично отправляемыми и до прозаичности просто организованными культами, с их невиданными здесь ранее школами для разных слоев населения, со своеобразными риторическими «университетами». Образование стало частью и орудием романизации — учиться значило учиться латыни, готовиться к римской службе. Но оно же приобщало ко всему богатству античной культуры, создавало представление о законе и праве, меняло быт и нравы.

Человек в этой атмосфере улавливал прежде всего двойственность общественной действительности, где римское и неримское выступали как сосуществующие начала, ни одно из которых не могло рассматриваться как абсолютное. Он приучался рассматривать как центральную общественную проблему проблему развитого и сильного государства, которое подавляло свободу и индивидуальность, но преодолевало застой, дикость, местничество и открывало путь к иной культуре. Здесь складывалось ощущение, что государство, свобода и культура составляют величайшие ценности человеческого бытия, но что отношения между ними двойственны, запутанны и слож-

ны. Опыт, накопленный Тацитом еще в родной Галлии, порождал общее впечатление противоречивости исторического бытия и о неразрывном единстве противоречий, его составляющих. Практическая деятельность Тацита-магистрата в провинциях развила и углубила это исходное ощущение, обогатила его конкретным общественно-историческим содержанием.

4. Мир или свобода. Как римский магистрат Тацит не мог не проводить в провинциях ту политику, которая со времен Августа стала обязательной,—политику мира. Она выражалась в отказе от больших завоевательных кампаний и в усиленной романизации покоренных областей. Она не сводилась к практическим мероприятиям в области провинциального управления или освоения новых территорий, а была связана с определенным представлением об отношениях между властью и людьми, и потому за ней стояла некая общественная философия. Тацит суммировал ее главные положения в речи, которую вложил в уста Петилия Цериала — римского полководца, убеждавшего вождей галльских племен не поддерживать восстание Цивилиса; речь эта вобрала в себя и собственный опыт Тацита— опыт общения римского магистрата с народностями Галлии или Германии. Основное в речи Цериала — мысль о том, что «римский мир», pax Romana, представляет собой единственную альтернативу «варварской свободе», barbarorum libertas,— догосударственной вольнице, игре местнических и эгоистических интересов, дикости и войне всех против всех. Противоположность «римский мир»—«варварская свобода» дополняла и углубляла противоположность централизованной власти и местной традиции, лежавшую в основе политики и идеологии раннего принципата в целом. При перенесении этой системы в провинции в централизованной римской власти главным становилось преодоление примитивного, непосредственно присваивающего и потому всегда местнического, племенного, дробного отношения человека к природе и действительности и ориентация на отчужденно единообразные государственные формы общественной жизни. «Римский мир» означал признание этой отчужденно единообразной системы залогом выживания ее частей. «Любите и охраняйте мир,— говорили римские магистраты галлам, британцам, покоренным германским племенам,— любите и охраняйте Город, который все мы, победители и побежденные, с рав-

ным правом считаем своим. Перед вами выбор между покорностью, обеспечивающей вам спокойную жизнь, и упорством, таящим смертельную опасность; вы уже испытали и то и другое; пусть же опыт заставит вас выбрать первый из этих путей» [4]. Политическая сфера, таким образом, отделялась от трудовой и личной; первая переходила в ведение далекого и абстрактного центрального правительства, а человеческое существование сосредоточивалось во второй. В таком своем виде «мир» (рах) становился обобщенным выражением самой сущности принципата: ведь и сами императоры, и официальная пропаганда, и широкое общественное мнение видели оправдание и смысл этого строя в том, что он устранил гражданские войны и их последствия, установил мир и эффективную систему администрации, потребовав взамен отказа отдельных лиц и групп от вмешательства в вопросы управления и от самостоятельной инициативы в этой области.

Противоположностью рах для Тацита является не только и не просто bellum, «война», а bellum omnium contra omnes — «война всех против всех», discordiae — «распри» и audacia — «дерзость». Эта противоположность «миру» воплощена в варварах-германцах, британцах и кельтах, которые и живут в царстве междоусобиц, ссор и беспорядков. Именно постоянные распри — источник поражений варваров в столкновениях с Римом и страданий, которые им приходится переносить потом. «Сильные нашими усобицами и распрями,— говорил один из варварских вождей,— обращают римляне пороки врага к славе своего войска» [5]. Сложность, однако, состоит в том, что ни германцы, ни британцы, ни даже галлы не могут отказаться от своих усобиц, потому что своеволие и неподвластность единоначалию — это не только источник их слабости, но и содержание их высшей ценности — свободы. Подлинную и конечную противоположность «римскому миру» образует именно она, и проблема состоит в том, «предпочесть свободу или мир» [6].

Но перед этим выбором стоят не только варвары. Проблема «свобода или мир» уже более ста лет образует суть и средоточие также и истории Рима, и Тацит понимал это с самого начала, как видно из формулы, которой открывается первое его произведение и с которой в сущности связано все его творчество: будущее Рима зависит от того, удастся ли соединить «*вещи, издревле несовме-*

стимые,— принципат и свободу» [7]. Речь здесь идет о том контрапункте римской истории, о котором мы говорили выше,— о республиканской свободе, неотделимой от полисных порядков, изжившей себя и некогда поставившей римское государство на грань катастрофы; о принципате как форме преодоления полисных порядков, подчинения интересов родов и групп, олигархий и городских республик интересам мировой державы, воплощенным в принцепсе; о совместимости — или несовместимости — этих двух начал римской жизни, уходящего и набирающего сил, но равно присутствующих в действительности. Только так понятие «мир» раскрывало всю сложность своей смысловой структуры. В нем соединялись представление об ограничении завоеваний и усилении романизации в провинциях с представлением об отказе от инициативы и самостоятельности ради спокойствия государства в целом. Понятие это, таким образом, содержало единую общественно-историческую характеристику, действительную для Рима и провинций.

Ключевые формулы — «свобода и(или) принципат», «варварская свобода», «свобода или мир», «единовластия потребовали интересы мира» — не случайно сосредоточены в ранних книгах Тацита и в начале «Истории», т. е. на тех страницах, которые создавались непосредственно после 97 и до 105 г. Тацит писал их после четырех лет магистратской деятельности в одной из пограничных провинций и, может быть, продолжая службу в другой провинции того же облика. Впечатления от пребывания и службы в этих умиротворяемых, но не умиротворенных краях и привели Тацита к мысли о том, что при всей его противоположности варварству Рим включен в некоторые общественные процессы, единые для него и для внеримского мира. Понимание коренных вопросов истории и жизни империи как вопросов всеобщих, в равной мере действительных и для Рима, и для его варварской противоположности, отрицало исключительность Рима-города, исключительность традиций и судеб его гражданской общины, лишало римские исторические ценности абсолютного значения, показывало, что время их если не прошло, то проходит.

Попробуем проследить этот ход мысли на конкретном материале. В книгах Тацита он раскрывается прежде всего в эпизодах, которые посвящены восстаниям германских и галльских народов и в которых поэтому содер-

жится прямое сопоставление варварского и римского миров. Такими эпизодами являются борьба римлян с мятежными вождями британских кельтов Калгаком, Каратаком и Боудиккой, с руководителями галльских восстаний Валентином и Сакровиром, с германцами, поднявшими на борьбу против Рима своих соотечественников,— Арминием и Цивилисом.

Исходным состоянием германских, британских, галльских племен и народов являются внутренние усобицы, распри, отсутствие солидарности: «ничего еще не добившись, галлы уже начали ссориться» [8]; «вожди восстания действовали без всякого общего плана» [9]. Задача их состоит в том, чтобы преодолеть эти мелкие и тягостные ссоры и установить объемлющую весь народ антиримскую солидарность. Но ведь и римляне, внешне столь единые и дисциплинированные, не чужды того же состояния внутренней смуты, вызванной игрой эгоистических интересов. Агрикола в речи к солдатам намекает, что Домициан не дает им завершить покорение Британии; Цивилису удается подготовить свое восстание потому, что он прикидывается сторонником Веспасиана, ведущего гражданскую войну против Вителлия; успехи Сакровира связаны с тем, что Тиберий не обратил вовремя внимания на восставших эдуев, «будучи погружен в разбор доносов» [10], а «римские военачальники спорили, кому из них возглавить военные действия» [11]. Преодолеть разброд и эгоизм, сплотиться для защиты общенародных интересов римлянам так же необходимо, как варварам.

Но при этом, разумеется, между римлянами и варварами есть глубокое различие. Оно касается того исторического дела, той цели, ради которой те и другие сплачивают свои силы. Для галлов, германцев, британских племен такой целью является свобода, для римлян — мир. Движимые воспоминаниями о былой свободе, вот-вот, кажется Калгаку, должны восстать не только его соотечественники британцы, но и галлы. Когда Цивилису действительно удается их поднять, то главной целью войны он объявляет возвращение свободы. Арминий твердит германцам, что они должны последовать лучше «за ним, который ведет их к свободе и славе, чем за Сегестом, ведущим к постыдному рабству» [12], и от соплеменников, подпавших под влияние римлян, германцы требуют, чтобы те уничтожали своих поработителей и вновь стали «свободными среди свободных» [13]. Поднимая восстание

британских народов против римлян, Боудикка рассчитывает на «всех тех, кто еще не сломлен порабощением и клялся на тайных собраниях отвоевать утраченную свободу»[14].

Римляне исходят из того, что жизнь не только в Италии и столице, но и в завоеванных провинциях должна строиться по принципу рах. Поэтому их колонии сплошь да рядом не принимают никаких мер обороны и живут «столь же беспечно, как если бы кругом царил мир»[15], а колонисты, по словам самих германцев, «издавна женятся на наших женщинах, породнились с нами, здесь их родина и родина их детей»[16]. Но поэтому же римляне подавляют и истребляют независимые, живущие войной и для войны местные племена, и, лишь «создав пустыню, они говорят, что принесли мир»[17]. Господство римлян обеспечивает «блага мирной жизни», но от этого оно не перестает быть господством, грубым и насильственным, неотделимым от «вечного гнета налогов, произвола ростовщиков, жестокости и надменности правителей»[18]. Даже независимо от насилий и жестокости, взятый сам по себе, насаждаемый римлянами мир означает привычку к смирению перед властью, предполагает уход в частную жизнь, отказ от помыслов о свободе, от энергии самостоятельного существования. «С помощью удовольствий римляне вернее, чем оружием, удерживают людей в подчинении»[19]. Круг замкнулся. Перед лицом варварской свободы принципат и его «мир» оказались теми же, что перед лицом свободы римской, и в сопоставлении со «сладостными благами мира» свобода варваров была ничем не хуже и ничем не лучше свободы римских республиканцев. Август «принял под свою руку истомленное гражданскими раздорами государство»[20] точно так же, как римские полководцы «вступили в земли галлов по просьбе их же предков, едва не погибших от междоусобных войн»[21].

5. «Совесть рода человеческого». Важная особенность разбираемых эпизодов состоит в том, что в них чаще, чем в других, употребляется слово virtus, и в том, главное, что это исконно римское понятие используется для характеристики вождей восставших племен в равной, если не в большей, мере, чем при описании римских полководцев. Virtus римского полководца Германика явствует прежде всего из описания его личности и его подвигов, virtus его противника Арминия отмечена Таци-

том прямо. Доблестному поведению легата Британии Публия Остория посвящена целая глава, но такая же глава повествует о доблести захваченного Osторием в плен Каратака, и именно в речи Каратака говорится о древней virtus британцев. Сражаясь с Цивилисом, римский легат Вокула признается, что римляне «былую доблесть утратили» [22], тогда как в уста Цивилиса Тацит вкладывает фразу, достойную Саллюстия: «Свободой природа наделила даже бессловесных скотов, доблесть — благо, данное лишь человеку» [23]. Перед решительным сражением у горы Гравпий оба противника, и Агрикола и Калгак, говорят о virtus своих воинов. Сходство вождей римлян и варваров идет и дальше — оба подчас оказываются слишком доблестными для того мира, к которому принадлежат, и потому оба гибнут. Так, Сакровир, видя, что его восстание разгромлено, бежал с товарищами в загородную усадьбу. «Там он поразил себя своей рукою, а остальные — пронзив насмерть друг друга. Подожженная усадьба сгорела, и огонь поглотил их тела» [24]. Поражение Сакровиру нанес командующий верхнегерманскими легионами Гай Силий, который тоже несколькими годами позже «упредил неизбежное осуждение добровольной смертью» [25]. Virtus Сакровира оказалась несовместимой с галльской неорганизованностью, virtus Силия — с римским единодержавием. Судьба Калгака, противника Агриколы, неизвестна, но нетрудно представить себе, что ожидало вождя разгромленного антиримского восстания. Тацит намекает на то, что и преждевременная смерть Агриколы тоже была убийством. Причиной гибели обоих был в конечном счете римский принципат и римский принцепс — «повелитель, враждебный доблести» [26].

Силы, которые делают неизбежной гибель обоих, друг другу противостоящих носителей virtus, выступают особенно ясно в рассказе об Арминии и Германике. Идеал Арминия и цель всех его действий — свобода. Он «ведет германцев к свободе и славе» [27], он «возвратил им свободу и уничтожил римские легионы» [28]. Но свобода в Германии, как и в Риме, неотделима от распрей, распущенности, легкомыслия, эгоизма и потому губит человека, поставившего ей на службу свою концентрированную энергию, целенаправленную волю, всю силу духа: «Арминий столкнулся со свободолюбием соплеменников; подвергшись с их стороны преследованию, он сражался с переменным успехом и пал от коварства своих прибли-

женных»[29]. Рассказы о смерти Германика и о смерти Арминия уравновешены — первый значительно больше по величине, но последний занимает особенно важное место, так как завершает книгу; они сознательно сопоставлены: Арминий умер в 21 г. и перенос этого сообщения во II книгу «Анналов» был сделан нарочито, в нарушение хронологии; указания на непосредственные причины смерти даны в подчеркнуто близких формулировках.

Близость рассказов об Арминии и Германике делает особенно очевидным различие в их судьбах. Оба погибли от происков приближенных, но в случае Арминия эти происки проистекали из разброда его соплеменников, из их ненависти к его планам объединения Германии, тогда как за интригами, жертвой которых пал Германик, стояла сила, прямо противоположная. «Вожди смертны, государство вечно»,— объявил в своем эдикте по поводу смерти Германика убивший его Тиберий[30]. Убил Германика заложенный в империи дух организации и иерархии, устранявший свободу, самобытность, яркую неповторимость личности, а потому в конечном счете и virtus: «Не по нраву пришлась властителям приверженность к народоправству их сыновей, и их погубили не из-за чего-либо иного, как только за то, что они замышляли вернуть римскому народу свободу»[31].

Но, родившись и выросши в провинции, столько в провинциях прожив и прослужив, столько передумав над их судьбами, Тацит видит за этой политической и государственно-правовой противоположностью единство — нравственное, человеческое и историческое; для него как писателя и мыслителя эти три сферы были нераздельны. Libertas изживает себя, и, чтобы выстоять, народ должен прийти к организации, единовластию и миру. Но, последовательно искореняя libertas, власть грозит перерасти в безликую тиранию — и только.

Суть состоит в том, что оба эти состояния равно губительны для единственной подлинной силы, одухотворяющей историю, превращающей ее из пустой длительности в неиссякаемый поток человеческой энергии, поставленной на службу общему делу,— virtus. В основе взглядов, выработанных Тацитом в провинциях, лежали коренные, исходные категории римской жизни и римской государственности эпохи конца Республики и Ранней империи — libertas, pax, discordia, virtus, но он развернул и обобщил их в некоторую универсальную систему, увидел в их

диалектическом движении ход и развитие мировой истории. Само это понятие *всеобщей* истории и единой закономерности, объемлющей римский и варварский мир, означало конец римско-античного этапа европейской культуры, в основе которого всегда лежало представление об иерархической несоизмеримости «одетого тогами племени» (или соответственно «эллинов») и всех остальных. Преступность Домициана для Тацита в конечном итоге заключается в том, что он стремился подавить не только «голос римского народа», не только «свободу сената», но и «совесть *рода человеческого*» (conscientiam generis humani) [32].

Это крайняя точка и поворотный пункт в развитии Тацита как мыслителя и человека. Перед тем, кто понял, что высшим критерием общественного поведения и нравственности является «совесть рода человеческого», открывались дотоле неведомые пути. Они вели либо к восточно-греко-римскому культурному и философскому синкретизму нового типа, либо к Тертуллиану и Оригену. Тацит по этим путям не пошел. Он был римским гражданином во втором или третьем поколении, сенатором в первом и, как для всякого неофита, Рим, его действительность, идеал и история обладали для него всеобъемлющим обаянием и неодолимой притягательной силой. Он остался в том мире, от которого, как он сам видел, дух живой истории отлетал.

Часть третья

КНИГИ

Глава шестая

«ИСТОРИЯ», ИЛИ ЧТО ЗНАЧИТ ПИСАТЬ, «НЕ ПОДДАВАЯСЬ ЛЮБВИ И НЕ ЗНАЯ НЕНАВИСТИ»

1. Тема. «История», создававшаяся между 101 и 109 гг., представляет собой рассказ о событиях в Римской империи, начиная с 69 и кончая 96 г. До наших дней сохранилось полностью его начало — четыре книги и большой фрагмент пятой. Первая повествует о том, что происходило в Риме и в империи в январе—марте 69 г., о состоянии столицы после смерти Нерона, походе Гальбы из Испании на Рим, кратком его правлении, о захвате власти Отоном и выступлении его во главе армии навстречу германским легионам, надвигавшимся на столицу с севера с целью посадить на престол своего ставленника Вителлия. Вторая книга охватывает март—сентябрь 69 г.— мятеж восточных легионов во главе с Веспасианом, боевые действия в северной Италии, приведшие к гибели Отона и воцарению Вителлия, выступление его полководцев навстречу армиям Флавия Веспасиана, вошедшим тем временем в Италию с северо-востока. Третья книга (август—декабрь 69 г.) посвящена почти целиком войне между вителлианцами и флавианцами в Италии и завершается описанием боевых действий на подступах к Риму и на улицах столицы, пожара Капитолийского храма, воцарения династии Флавиев. В четвертой книге (январь — июль 70 г.) много говорится о положении в сенате, спорах между отдельными группировками, первых политических мероприятиях новой власти, но главным содержанием ее является восстание галлов и германцев под руководством Цивилиса против римлян. Наконец, в сохранившейся части V книги (январь—сентябрь 70 г.) дано развернутое описание Иудеи, ее

столицы Иерусалима и анализ военно-политического положения, сложившегося к началу осады города римлянами; книга V завершается рассказом о боевых действиях в Германии и переговорах римского полководца Цериала с Цивилисом накануне капитуляции последнего.

При таком содержании «Истории» вопрос о ее теме кажется странным и неправомерным. Разве она не исчерпывается хронологически последовательным рассказом о событиях, о том, «как, собственно, было дело»? Внимательное чтение ее, однако, показывает, что это впечатление обманчиво и что материал книги искусно организован, т. е. подчинен некоторой идее и утверждает ее, связан с определенной темой. В начале сочинения Тацит прямо говорит, что стремится понять и изложить «не внешнее течение событий, которое по большей части зависит от случая, но также их смысл и причины» (I, 4, 1) [1] и ради выявления этих причин и внутренних связей группирует факты, нарушая хронологическую последовательность. «Прежде чем приступить к задуманному рассказу, нужно, я полагаю, оглянуться назад и представить себе, каково было положение в Риме» (там же). «В эти же дни вспыхнули волнения в Германии... О причинах и ходе этой надолго затянувшейся войны я вскоре расскажу особо» (III, 46, 1). Соответственно каждая книга «Истории» не просто охватывает определенный период времени, а организована как относительно замкнутое художественное целое, которое открывается особенно знаменательным событием, имеющим символический или пророческий смысл, и завершается примерно так же. В конце I книги уходит в поход, чтобы из него не вернуться, Отон, в конце II — полководцы Вителлия, в конце III «солдаты, как были после боя увешанные оружием, толпой проводили Домициана в дом отца» — начинается почти 30-летнее трагическое правление императоров Флавиев. Зарождением флавианского мятежа открывается II книга, вторжением флавианских войск в Италию — III, первыми шагами Цивилиса — IV. Задача не в том, чтобы «изложить внешнее течение событий», а в том, чтобы ни на минуту не дать ослабеть ощущению, что речь идет «о временах, исполненных несчастий, изобилующих жестокими битвами, смутами и распрями, о временах, диких и неистовых даже в мирную пору» (I, 2, 1).

Раскрытие исторического смысла флавианской эпохи и составляет тему «Истории».

Решение этой темы представляется очевидным. Про свое намерение поведать о времени правления Флавиев Тацит говорил с самого начала литературной деятельности и с самого начала не скрывал, каким должен быть смысл его повествования. «Я не пожалею труда для того, чтобы создать сочинение, в котором — пусть неискусным и необработанным языком — расскажу о былом нашем рабстве»[2]. В первых главах «Истории» и это намерение, и это отношение к пережитой эпохе и к смыслу рассказа о ней выражено автором еще более прямо и ярко. После слов о том, что он «приступает к рассказу о временах, исполненных несчастий», следует перечень всего, чем для Тацита эти времена были ознаменованы. «Поруганы древние обряды, осквернены брачные узы; море покрыто кораблями, увозящими в изгнание осужденных, утесы запятнаны кровью убитых. Еще худшая жестокость бушует в самом Риме — все вменяется в преступление: знатность, богатство, почетные должности, которые человек занимал или от которых он отказался, и неминуемая гибель вознаграждает добродетель» (I, 2, 2—3). Нет оснований сомневаться в том, что «История» не просто рассказ об эпохе Флавиев, что она посвящена разоблачению и гневному осуждению их режима. Это положение, однако, на первый взгляд столь простое и ясное, при углубленном анализе оказывается не таким уж ясным, а главное, совсем не простым.

2. «Не поддаваясь любви и не зная ненависти». Вернемся к той фразе в первой главе «Истории» о «восхождении» будущего историка «по пути почестей», которая до сих пор интересовала нас с точки зрения магистратской карьеры Тацита, и к словам: «не стану отрицать». «После битвы при Акции... правду стали всячески искажать... из желания польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним. До мнения потомства не стало дела ни хулителям, ни льстецам... Если же говорить обо мне, то от Гальбы, Отона и Вителлия я не видел ни хорошего, ни плохого. Не стану отрицать, что начало моему восхождению по пути почестей положил Веспасиан, Тит продолжил его, а Домициан вознес меня много выше».

Связь свою с Домицианом отрицали в эти годы все. Деятельность его была осуждена сенатом, статуи уничто-

жены, имя подвергнуто проклятию. Последнее постановление проводилось в жизнь на редкость последовательно, и в эпиграфике имя последнего Флавия обходится даже в тех случаях, когда близость прославляемого в надписи лица к Домициану и покровительство, оказанное ему императором, были общеизвестны [3]. С двумя первыми Флавиями положение было сложнее. Оба были обожествлены и до 96 г. упоминаются в надписях неизменно и повсеместно; после смены династии имена их также не подвергались никаким официальным запретам. Они фигурируют в надписях и сенаторов, и прокураторов, в том числе таких, которые пользовались покровительством первых Антонинов. Существуют, однако, и надписи, где их имена опущены [4]. Упоминание имен первых Флавиев или опущение их было, таким образом, делом выбора, т. е. выражением позиции.

Смысл ее можно обнаружить, обратившись к эпиграфике Плиния Младшего и к произведениям этого писателя. В главной его надписи, самой большой и красиво оформленной [5], не упоминается ни один из Флавиев, хотя при них протекала добрая половина его магистратской деятельности и хотя он был жрецом культа Тита. Его «Письма» свидетельствуют о том, что это не было случайностью: во всей этой объемистой книге Веспасиан упомянут четыре раза, Тит — два (при этом первый лишь дважды назван «божественным», второй — ни разу), и все упоминания о них очень сухи. Эти внешние детали выражали определенное отношение к режиму Траяна. В «Панегирике» этому императору, составленном тем же Плинием, имена первых Флавиев почти не встречаются. Домициан тоже называется по имени относительно редко (хотя подразумевается постоянно), и это очевидным образом связано с главной задачей речи: противопоставить старый принципат в целом новой римской государственности, воплощенной в Траяне.

Обоснование особого, высшего характера Траянова правления через контраст его с предшествующим режимом носило официозный характер — оно нашло себе отражение и в обращенных к императору (подобно тому как обращен был к нему «Панегирик» Плиния) речах Диона Хрисостома. При такой установке осуждения одного Домициана было недостаточно — Нерва и Траян оказывались бы в подобном случае лишь очередными хорошими государями, сменившими очередного плохого. Все дело

было в том, что согласно внедрявшейся схеме Нерон и Флавии составляли единую эпоху, единый принципат — плохой и ушедший в прошлое, а Траян открывал новую эру и должен был восприниматься как воплощение нового, в основе своей иного строя, человечного и идеального, поддерживаемого всеми порядочными людьми. Соответственно связь свою с Флавиями «отрицали» те, кто готов был видеть в становящемся режиме Антонинов идеал res publica Romana. Тацит не только заявил во всеуслышание, что не хочет этого делать, но не отрекся даже от связи с официально осужденным и официально не упоминаемым Домицианом.

Это было прямым нарушением общепринятого тона и почти грубостью по отношению к Траяну, который любил противопоставлять себя последнему Флавию и еще больше любил слушать, как это делают другие. Заявление Тацита ни в коей мере не означало, однако, и реабилитации, исторической или нравственной, пережитой эпохи и флавианского режима, которые он тут же назвал «временем диким и неистовым», а несколькими годами раньше — «порой рабства и нескончаемых гонений» [6]. Позиция, заключенная в анализируемой фразе, означала не восхваление одного режима или осуждение другого, а понимание относительности и флавианской, и антониновской государственности, относительности основных политических направлений переживаемого Тацитом времени, означало готовность понимать историю, «не поддаваясь любви и не зная ненависти». Слова эти идут у Тацита непосредственно вслед за словами «не стану отрицать».

3. Тацит и флавианская историография. Эта позиция лишь подтверждала все то, к чему Тацит пришел в итоге своей прошлой деятельности. «История» знаменовала дальнейшее ее развитие и углубление. Упоминание в первой главе об историках, искажающих правду из желания польстить одним властителям или из ненависти к другим, открывает целую серию отзывов Тацита об официальной флавианской историографии [7]. Как правило, отзывы эти носят критический, разоблачительный характер: «Писатели, которые рассказывали историю этой войны во время правления Флавиев, из лести объясняли измену Цецины и других их заботами о мире и любовью к родине. Нам же кажется, что людьми этими — не говоря уж об их непостоянстве

и готовности, раз изменив Гальбе, изменять кому угодно — двигали соперничество и зависть» (II, 101, 1). Такими прямыми отзывами отношение Тацита к своим предшественникам не исчерпывается. Не менее, если не более, важны оценки скрытые, содержащиеся в самом освещении событий, полемичном по отношению к их флавианской версии.

История прихода Веспасиана к власти рассказана у Тацита и у Иосифа Флавия в «Иудейской войне». Рассказ обоих авторов следует общей схеме и подчас совпадает текстуально — достаточно сравнить, например, IV, 501 слл. у Иосифа с II, 4, 2 у Тацита или соответственно IV, 597 и II, 5, 1. Изменения, внесенные каждым историком в общий материал, должны в этих условиях отражать сознательную установку автора. Личные связи Иосифа с Веспасианом и тот факт, что это свое сочинение он преподнес императору, благосклонно его принявшему, заставляют рассматривать версию событий, в нем изложенную, как соответствовавшую пропагандистским установкам новых властителей. Характер изложения и его тон подтверждают такое предположение. В изображении Иосифа Веспасиан весной и летом 69 г. вынужден был вступить в борьбу за власть, потому что страдал от отчаянного положения государства, от наглой тирании Вителлия (IV, 589 слл.) и потому что его побуждали к тому солдаты (IV, 604). Такое освещение исключало всякую мысль о заранее составленном заговоре и делало главным в поведении Веспасиана солидарность с армией, потрясенной развалом, царящим в государстве, защиту res publica (IV, 591) и восстановление законных порядков (IV, 585 слл.). Тацит, сохраняя общую последовательность и некоторые детали рассказа, вводит в него решающее изменение: Муциан и Веспасиан заключили союз и тем самым начали готовить свое выступление сразу после смерти Нерона (II, 5), т. е. летом 68 г., когда Гальба был законным и общепризнанным императором, никакой гражданской войны не было и государству ничто не угрожало.

Введенная Тацитом деталь имела принципиальное значение и придавала особый смысл целому ряду расхождений его рассказа с официальной версией событий — расхождений, на первый взгляд частных и незначительных. Так, у Иосифа сказано, что зачинщики мятежа рассчитывали на три легиона (IV, 598), у Тацита — на семь

(II, 6, 2). За этим расхождением в цифрах стояло желание Иосифа доказать, что гражданскую войну начали солдаты Веспасиана в Иудее, где действительно находились три легиона, и желание Тацита подчеркнуть, что заговорщики рассчитывали на три легиона в Иудее и на четыре легиона в Сирии, т. е. с самого начала знали о союзе Веспасиана и наместника Сирии Муциана с целью захвата власти. Иосиф изображает оборону Капитолия в декабре 69 г. от германцев Вителлия как тщательно спланированный политический и военный акт, в осуществлении которого героическую роль сыграл Домициан (IV, 599, 645—649); Тацит, описывая эту оборону, показывает, как случайно она началась, говорит о трусости Домициана и — что должно было быть особенно чувствительным ударом по созданной историками флавианской легенде — снимает с Вителлия обвинение в разграблении храма (III, 71, 1). Восстание Цивилиса Иосиф изображает как результат злобного легкомыслия германцев, а подавление его — как результат военных талантов Домициана (VII, 75 слл.); Тацит в IV книге «Истории» говорит о притеснениях, которые терпят жители германских провинций от римлян, как о главной причине восстания и весьма иронически изображает появление Домициана на театре военных действий.

Что, собственно, ставит Тацит в вину своим коллегам и в чем смысл его полемики с ними? Кажется ясно: они прославляют Флавиев, которые были самозванцами, а некоторые и жестокими тиранами; он же разоблачает Флавиев, их помощников и их режим, показывает его подлинный неблаговидный характер. Общая антифлавианская направленность «Истории» подтверждает такое объяснение. И тем не менее оно отражает лишь часть истины, ибо в тексте книги есть вещи, ему противоречащие. Во-первых, демонстративный отказ Тацита скрывать свою связь с Флавиями показывает, что «отрицанием» и «разоблачением» флавианства дело для него не исчерпывалось. Во-вторых, Тацит противостоит профлавианской исторической традиции далеко не всегда и не во всем — в согласии с ней он обрисовывает теневые стороны людей, в общем ему нравящихся, и вводит положительные моменты в описание лиц, в конечном счете оцениваемых им отрицательно. Это касается прежде всего основателей династии. При всем разоблачении конечных политических и исторических целей созданного Веспасианом ре-

жима его самого как человека и полководца Тацит изображает сочувственно, а иногда даже восторженно. Он «обычно сам шел во главе войска, умел выбрать место для лагеря, днем и ночью помышлял о победе над врагами, а если надо, разил их могучей рукой, ел, что придется, одеждой и привычками почти не отличался от рядового солдата» (II, 5, 1). Провозглашенный императором, он «не обнаружил ни малейшей важности, никакой спеси» (II, 80, 2). При подготовке кампании он проявляет энергию, опыт и талант подлинного принцепса: «Веспасиан показывался всюду, всех подбадривал, хвалил людей честных и деятельных, растерянных и слабых наставлял собственным примером, лишь изредка прибегая к наказаниям, стремился умалить не достоинства своих друзей, а их недостатки» (II, 82, 1). Так же обстоит дело и с Мущианом; изображая его в мрачных тонах, Тацит в то же время упоминает о его энергии, артистизме, утонченной культуре.

Выявление в действующих лицах самых разных и, казалось бы, взаимоисключающих черт — основа творческого метода Тацита вообще и в «Истории» в особенности. Тит Виний, «отвратительнейший из смертных», как наместник Нарбонской Галлии «управлял порученной ему провинцией с суровой и неподкупной честностью». Отон, при захвате власти «ведший себя как раб», в других обстоятельствах «был духом решителен и тверд» и «приобрел у потомков и добрую и дурную славу» и т. д. Этот метод выражал способность историка видеть свои персонажи в их двойственности и улавливать в ней относительность исторических сил, конфликтами которых было заполнено его время, говорить о них поэтому, «не поддаваясь любви и не зная ненависти». Отрицательное отношение Тацита к предшествовавшей ему исторической традиции было вызвано ее несовместимостью с этим методом — не только письма, но и мышления.

Первое свое большое историческое сочинение Тацит открывает рассуждением о тех, кто писал историю Рима до него,— очевидно, определить свое отношение к предшественникам, размежеваться с ними и занять свое место в ряду «летописцев деяний римских» было для него исходной и первоочередной задачей. «События предыдущих восьмисот двадцати лет, прошедших с основания нашего города, описывали многие, и, пока они вели речь

о деяниях римского народа, рассказы их были красноречивы и искренни. Но после битвы при Акции, когда в интересах спокойствия и безопасности всю власть пришлось сосредоточить в руках одного человека, эти великие таланты перевелись. Правду стали всячески искажать — сперва по неведению государственных дел, которые люди начали считать себе посторонними, потом из желания польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним» (I, 1. 1).

Две вещи, как видим, определяют историографию римского принципата, для Тацита неприемлемую: ведущая к искажению правды односторонность и не дающая увидеть правду поверхностность. Вспомним, что ранний принципат как историческая форма строился на сосуществовании и неустойчивом равновесии традиций Римской республики со всеми ее общинными пережитками и военно-бюрократической государственной системы, перемалывавшей и эти традиции, и эти пережитки. Он нес в себе оба полюса этого противоречия. Потому попытки оценивать императорский режим с точки зрения какого-либо одного из его полюсов действительно вели к поверхностной односторонности и к предвзятости, к «лести или хуле», и, напротив, сам реальный ход истории требовал воспринимать время в относительности его противоречий.

4. Релятивизм и диалектика. Принципат для Тацита с самого начала—не заблуждение истории и не преступление кровавых злодеев. Власть, утверждает он, пришлось сосредоточить в руках одного человека «в интересах спокойствия и безопасности», и если вследствие этого «великие таланты перевелись», то отсюда лишь следует, что каждая ценность истории чревата своей противоположностью. Это надо было понять и принять: республика давала свободу, а отсюда —распри, игра необузданных честолюбий; сменивший ее принципат принес мир и спокойствие, но именно поэтому уничтожил прежний, непосредственно политический характер жизни. Продолжая упрямо и однобоко ориентироваться на величины и ценности, обнаружившие свою объективную двойственность, писатели I в. были для Тацита обречены на то, чтобы скользить по поверхности действительности и искажать сложную, развивающуюся и противоречивую правду истории.

Из редких и скупых свидетельств Тацита о своей жизни и творчестве ни одно не вызвало столько недове-

рия и иронии, сколько слова о том, что он описывает пережитое им время, «не поддаваясь любви и не зная ненависти», или — в позднейшей формулировке — sine ira et studio — «без гнева и пристрастия» [8].

Указывалось на то, что заверения в собственной беспристрастности — не более чем клише, характерное для римских историков вообще и потому не выражающее ни подлинной мысли, ни подлинной позиции автора. Изучение биографии Тацита и хода его мысли в «Истории» показывает, что принцип «без гнева и пристрастия» — не форма самообольщения и не риторическое клише, а внутренняя и пережитая художественно-философская установка писателя, в которой полно и точно выразились и объективный смысл римского принципата I в., и общественно-политический опыт самого историка.

Этим, однако, содержание формулы «без гнева и пристрастия» не исчерпывалось.

Слова Тацита о том, что его предшественники писали ярко, умно и вольно, пока вели речь о деяниях народа римского, и что великие эти таланты после битвы при Акции перевелись, нельзя понимать в том смысле, что почву подлинного, правдивого историописания составляет республиканская идеология, а принципат такое историописание исключает. Подобному пониманию противоречит не только общий характер «Истории», не только весь жизненный путь Тацита, но и прямой смысл разбираемого текста. В нем сказано, что принципат возник из объективной необходимости преодолеть социально-политические противоречия Поздней республики и потому должен рассматриваться как явление положительное или, во всяком случае, логичное и естественное; что принцепсам Флавиям Тацит обязан всей своей государственной карьерой, а первым Антонинам — возможностью «думать, что хочешь, и говорить, что думаешь»; что антиимператорская историография романтически-республиканского толка еще хуже, чем историография официально сервильная. Смысл противопоставления «великих талантов» «хулителям и льстецам» заключен в другом и также выражен в тексте ясно и прямо. Историки писали красноречиво, вольно и талантливо, пока «вели речь о деяниях народа римского», и талант их иссяк, когда они «стали считать государственные дела себе посторонними». Собственно, «государственные дела» — лишь очень бледный и неполный перевод слов res publica, за которыми в ла-

тинском языке и в римской общественной жизни стояло представление о полной и глубокой вовлеченности человека в дела общины, о личной ответственности граждан за судьбу города, о прямом участии каждого из них в решении этих судеб и тем самым — в «деяниях народа римского». В этом суть вопроса об отношении Тацита к Флавиям, к исторической традиции, которой он себя противопоставил, суть «Истории» как художественно-философского документа.

Интересы мира действительно потребовали сосредоточить все политические решения в руках одного человека, но именно поэтому граждане оказались от них отстраненными, вынужденными «считать государственные дела себе посторонними», а потому и утратившими возможность не только писать свою историю, но и думать, проявлять себя в обществе, жить «красноречиво и вольно». Красноречие и вольность, полагает Тацит,— свойство тех, кто живет ради «деяний народа римского» и в них. Поэтому суть не в личных свойствах мужественного и в общем справедливого Веспасиана или коварного, жестокого и подлого его младшего сына. Эти их особенности можно и нужно сносить, как «сносят недород или ливни, губящие урожай... нет-нет да и наступают лучшие времена» (IV, 74, 1—2). Суть в том, что жизнь народа и государства, их развитие и интересы стали для людей посторонним делом. Трагическая вина принципата и горькая беда римского государства в этом, а не в пороках того или иного императора.

Теперь вернемся к вопросу о теме «Истории». Она включает в себя не только жизнь Рима в период между Нероном и Нервой, не только разоблачение и осуждение принцепсов этой поры, но и раскрытие «внутреннего смысла и причин» того, почему их режим и римское государство под их властью стали тем, чем стали. В доблести граждан отделившееся от них государство видит теперь не опору, а угрозу своей надджизненной самостоятельности — «самую верную гибель навлекает на человека доблесть» (I, 2, 3). Безразличие к общим интересам res publica владеет городской чернью, которая «привыкла выказывать каждому принцепсу знаки преданности, на деле ни к чему не обязывающие» (I, 32, 1), жителями Рима в целом, которые во время уличных сражений между вителлианцами и солдатами Антония Прима, «наблюдая за борьбой, вели себя, как в цирке,— кричали, апло-

дировали, поощряли то тех, то других» (III, 83, 1), солдатами, «казалось, шедшими не по Италии, не по полям и селениям своей родины, а опустошавшими чужие берега, выжигавшими и грабившими вражеские города» (II, 12, 2). То же отчужденное безразличие проникло в сенат. Когда Гальба представлял усыновленного им Пизона сенаторам, «равнодушное большинство выразило ему свою благосклонность с угодливой покорностью, преследуя при этом лишь свои личные цели и нимало не заботясь об интересах государства» (I, 19, 1).

Это безразличие характеризует поведение и самих принцепсов, вроде Вителлия, который бесчувственно созерцал поле сражения при Бедриаке, где римляне убивали римлян, и «не пришел в ужас, не опустил глаза при виде стольких тысяч своих сограждан, оставшихся без погребения» (II, 70, 4). В этом полном отчуждении правителей, сената, армии, плебса от интересов государства как целого, от традиций его былой солидарности и славы, от res publica и virtus, как раз и состоявшей в служении человека «государственному делу»,— главная для Тацита особенность описанной им эпохи, отличающая ее от предыдущих. Многое из всего им рассказанного случалось и прежде, «но только теперь появилось это чудовищное равнодушие» (III, 83, 3).

Вина историков, описывавших годы Нерона и Флавиев, и состоит, по убеждению Тацита, во-вторых, в том, что они не заметили этой главной особенности своей эпохи и продолжали наивно полагать, будто распад изжитого исторического состояния и нарастание общественных противоречий — результат чьей-то злой воли, процесс обратимый, и ничего не стоит, если только постараться, вернуть его в былое русло. Именно об этом идет речь в обоих наиболее развернутых рассуждениях Тацита, посвященных критике историков принципата,— II, 37—38 и II, 101. Поверхностность взгляда и тем самым неведение правды — первая их вина. Вторая вытекает из первой: не видя глубинных движущих сил общественного развития, они сосредоточивают свое внимание на внешних причинах и думают — угодливо или с ненавистью — о принцепсах, вместо того чтобы думать о народе и его судьбе.

Безразличие к жизни res publica, которую люди стали считать себе посторонней, и лесть властителям или ненависть к ним — это две стороны и два логических

этапа единого процесса искажения исторической правды. Лесть властителям, внешне прямо противоположная нападкам, потому и не отличается от них по существу, что в основе и той и других лежит «неведение государственных дел» — забвение той единственной нормы, которая позволяет видеть относительность равно извращенных общественных сил, борющихся на поверхности политической жизни, которая позволяет возвыситься над ними, над злом времени и судить его и их. «Вести свое повествование, не поддаваясь любви и не зная ненависти»,— удел лишь тех, кто «объявил во всеуслышание о своей неколебимой верности» основополагающим ценностям римской гражданской общины и ее истории.

Связь римского мира с римской гражданской общиной оставалась, как мы видели, непосредственно очевидной как раз до первых десятилетий II в.— до времени, на которое приходится литературная деятельность Тацита. До этого времени поэтому могли длиться и оказывать свое влияние сложившиеся в недрах города-государства ценностные его представления: гражданская солидарность, гражданская ответственность, гражданская доблесть — весь тот круг этических норм, который искони выражался понятием virtus. Судьба поставила Тацита на ту грань, на которой римская гражданская община как реальный общественно-политический и социально-психологический организм окончательно завершила свое существование, традиции же римского города-государства и его полисная аксиология объективно могли еще восприниматься как духовная ценность. Тацит относился к числу тех, для кого была жизненно важна эта исторически сложившаяся аксиология и ее центральная категория — virtus, и именно потому, что он видел растворение ее в утверждающемся космополитизме Антониновой эры и несоотнесенность с ней ни одной из реальных общественно-политических сил времени, эти силы и представлялись ему чуждыми; именно отсюда возникла возможность рассматривать их «без гнева и пристрастия». Писать и думать так — не выражение безразличия, а верность virtus.

Единство обоих взаимодействующих начал — относительности исчерпывающих себя противоречий римской истории и абсолютного значения ее главного принципа, состоящего в ответственности гражданина за свое государство и перед ним,—стало и итогом жизни Тацита, и сутью его творчества, их общей основой.

Тацит, таким образом, во-первых, обнаружил относительность противоречий раннего принципата в самом объективном содержании исторического процесса и, во-вторых, уловил в этом процессе некоторый абсолютный момент, позволявший выявить ограниченность самой этой относительности и оценить ее. Сочетание этих двух особенностей делает формулу «без гнева и пристрастия» выражением не релятивизма, а диалектики. Последняя, как известно, на том и основана, что противоречия, их движение и относительность их полюсов раскрываются как факт объективной действительности. «Диалектика головы — только отражение форм движения реального мира, как природы, так и истории» [9]. Обнаружение того, что сама относительность познаваемых процессов относительна и содержит в себе некоторый абсолютный момент, также составляет важнейшую особенность диалектики в ее отличии от релятивизма. «Для объективной диалектики в релятивном есть абсолютное. Для объективизма и софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное» [10].

Единство относительного и абсолютного моментов ясно ощущается и в биографии Тацита, и в его сочинениях — в его cursus'е, таком непростом и сдержанном, но в то же время исполненном искреннего стремления служить государству; в его отношении к принципату, в котором он видел закономерный и оправданный этап общественного развития, но и к принцепсам, чью жестокость, аморализм, ограниченность он осуждал; в его ясном понимании того, сколько слабости было во «впечатляющей, но бесполезной для государства смерти» [11] оппозиционеров-стоиков — Тразеи, Гельвидия, Рустика, но и в его глубоком уважении к ним и ко всем, кто в условиях императорского террора «прожил жизнь, почти как подобает свободному человеку» [12]. Именно диалектический взгляд Тацита на историю позволил ему в его повествовании раскрыть «без гнева и пристрастия» относительность окружавших его исторических сил, т. е. рассказать о них без назидательности и догматики, но в то же время ясно показать их несоответствие конкретно-исторической моральной норме, рассказать так, как до него не говорил в Риме никто,— уже с некоторого отступа и еще изнутри, спокойно и страстно, с той нравственной силой и с тем благородством тона, которые двадцать веков привлекают к нему читателей.

В «Истории» эта диалектика выступает уже как общий принцип; в частных своих формах она складывалась в предшествующих, ранних произведениях Тацита: диалектика личности — в «Агриколе», диалектика культуры — в «Германии», диалектика истории — в «Диалоге об ораторах».

Глава седьмая

К ДИАЛЕКТИКЕ ЛИЧНОСТИ. «ЖИЗНЕОПИСАНИЕ АГРИКОЛЫ»

«Жизнеописание Агриколы» создавалось в последние месяцы 97 и в первые месяцы 98 г. По всей видимости, оно не было первым произведением, которое написал Тацит. Как всякий крупный оратор, он в течение уже многих лет публиковал тексты своих речей, а непосредственно перед тем, как начать работу над «Агриколой», выступил, в частности, с надгробной речью о скончавшемся летом 97 г. трижды консуле Вергинии Руфе. Такие речи, как правило, также издавались, и нет оснований думать, что эта явилась исключением. И тем не менее в более глубоком смысле «Жизнеописание Агриколы» действительно представляет собой первое произведение историка, так как именно оно открывает единый, связанный внутренней эволюцией идейно-художественный цикл, который образуют известные нам сочинения этого автора. В «Агриколе» — исток всей рассказанной Тацитом эпопеи.

1. Проблема жанра. В основе классификации жанров в античной эстетике лежало отношение типа сознания, отразившегося в данном литературном произведении, к мировому и(или) общественному целому. Под высокими жанрами понимались такие, где речь шла об отношениях человека с этим целым — о бытии народа, о судьбах рода и государства, воле богов, велении рока; низкие жанры, вроде комедии или сатиры, потому и воспринимались как низкие, что человек или событие рассматривались в них в своем эмпирическом своеобразии, как частное и отдельное. В Риме споры о соотношении и предпочтительности отдельных жанров словесного искусства приобрели особую важность именно в ту эпоху, когда вопросы отношений человека и государства, внутренней свободы и политической необходимости встали особенно остро, т. е. прежде всего в эпоху Поздней респуб-

лики и раннего принципата. Первое произведение Тацита связано в первую очередь с этими вопросами, и потому так важна проблема его жанра.

Жанровая принадлежность «Агриколы» вот уже на протяжении полутора столетий вызывает бесконечные споры. Казалось бы, для них нет оснований. Разве не сказал сам автор, что он «вознамерился поведать о жизни покойного мужа» (1, 4), и разве не обозначена в рукописях эта его книга как «Жизнеописание»? Какие же есть причины сомневаться в том, что перед нами биография? Однако основная часть книги представляет собой рассказ о покорении Британии — погодную запись исторических событий, развернутую на этнографическом фоне, в которой тонет и почти не ощущается собственно биографический материал. Значит ли это, что «Агрикола» не биография, а история или по крайней мере соединение того и другого? Но ведь это сочинение Тацит задумал как «воздаяние должного памяти моего тестя Агриколы» (3, 3), т. е. как прославление усопшего, что с самых древних времен составляло в Риме содержание особого жанра «надгробной хвалы». Произведения этого жанра обладали рядом определенных признаков, несводимых ни к биографии, ни к истории; почти все они обнаруживаются в «Жизнеописании Агриколы». Можно высказать также множество других предположений о жанре интересующего нас сочинения.

Все эти споры не столь формальны и схоластичны, как может показаться на первый взгляд. Жанр предполагал определенный тип связи человека и общественного целого, сам же этот тип связи менялся исторически. Жанры, признаки которых исследователи обнаруживали в «Агриколе», не образовывали поэтому синхронного набора, из которого автор мог произвольно выбирать; каждый такой жанр становился особенно важен на определенном этапе истории Рима и отражал столь же определенное соотношение гражданской общины и гражданина. Жанровая многозначность «Агриколы» мало что раскрывала бы в существе этого сочинения, если рассматривать его как мозаику жанровых признаков и видеть задачу в том, чтобы установить, признаки какого именно жанра в этой мозаике преобладают. Но та же жанровая многозначность становится основой углубленного понимания первого произведения Тацита, если рассмотреть ее как отражение эволюции римских представлений о соотноше-

нии человека и общественного целого, каждый этап которой порождал особые литературные формы и отложил свой особый след в Тацитовой «повести о жизни покойного мужа». Сама же эта повесть, как выясняется при таком подходе, потому и не укладывается в традиционную систему жанров, что рассказанный в ней конфликт между человеком и властью не укладывался в традиционную и себя исчерпавшую систему связей гражданина и гражданской общины.

2. Этапы развития римской биографической литературы. Представление о том, что история и успехи Рима — не просто проявление роевой силы общины, а результат деятельности отдельных людей и что поэтому о таких людях можно и нужно рассказывать, дабы прославить ту же общину, складывается в III в. до н. э. Как оно формируется, наиболее ясно видно из эпитафий римских аристократов и видных государственных деятелей Сципионов. Две самые ранние из них — Луция Сципиона Бородатого (консула 296 г., цензора 290 г.) и его сына Луция Корнелия Сципиона (консула 259 г., цензора 258 г.) — еще целиком строятся по единой, как видно, канонической схеме: имя, род, общая оценка, почетные должности, деяния. Ни для неповторимых особенностей покойного, ни для чувств, ни для чего личного здесь еще места нет. То же понимание человека отразилось и в похвальных надгробных речах этой эпохи. В традиционную их схему входило восхваление заслуг и подвигов покойного, а затем — заслуг и подвигов его предков. Под заслугами и подвигами понимались только деяния, совершенные на службе городу, почему рассказ о них, по-видимому, практически совпадал с последовательным перечислением почетных должностей. Именно так, например, выглядела похвальная речь о дважды консуле Луции Цецилии Метелле, произнесенная его сыном Квинтом в 221 г. до н. э.[1]

Восприятие человека как совокупности деяний, совершенных во славу государства, получает в эту эпоху теоретическое обоснование у Полибия, который отказывается давать целостную характеристику «царей и замечательных людей» и объявляет о своем намерении говорить о них лишь «по мере изложения событий»[2]. Практически это означало, что исторический деятель выступал не как индивидуальность, а как совокупность поступков. Личность уже признавалась существенным элементом

истории, но еще такая личность, которая выражала себя лишь в деяниях в пользу государства и в глазах народа и в собственных глазах исчерпывалась ими. Когда Катон Старший (234—149 гг. до н. э.), рассказывая в своем сочинении «Начала» историю 2-й Пунической и последующих войн, «не называл полководцев, а излагал ход дела без имен» [3], это была не только характерная для него аффектация консерватизма, но и выражение еще живых норм мышления.

Его современник и враг Сципион Старший был человеком прямо противоположного склада, но ощущение неправомерности усложненной, слишком яркой личности, какой-то ее неестественности, греховности ее отпадения от коллектива было всю жизнь присуще и ему. Он искал оправдания своим непонятным для современников поступкам, утверждая, что лишь выполняет открывшуюся ему волю богов. Он никогда и ничего не писал, чтобы не претендовать на увековечение своих взглядов и мыслей; он ушел от дел и от активной общественной жизни полным сил пятидесятилетним человеком не потому, что стал жертвой клеветнических обвинений — это было ему не впервой, и он сумел от них отбиться, а потому, что понял свою неспособность раствориться в массе граждан, отождествиться с ее сегодняшними интересами. Нормой для времени и для него оставалось именно такое отношение тождества.

Следующий этап в развитии представлений о роли личности в истории (и объективных процессов, порождавших эти представления) относится ко 2-й и 3-й четверти I в. до н. э. Всеобщий кризис, охвативший в эти годы римское государство, выражался, помимо всего прочего, в том, что римское гражданство распространилось на сотни тысяч людей, по своему происхождению, связям, традициям общественного поведения не имевшим ничего общего с былой, относительно замкнутой общиной города Рима. Моральные и социально-психологические нормы римской гражданской общины, и в частности положение об абсолютном примате интересов города над интересами личности, распадались. Соответственно резко возросла объективная роль и общественный престиж отдельных государственных деятелей, видевших, как казалось, дальше остальных граждан и глубже их понимавших интересы государства. Яркая, резко очерченная личность, не смиряющаяся перед традициями и общим мнением, дейст-

вующая на свой страх и риск, становится знамением времени, его символом, отличавшим эту эпоху от предыдущей и от последующей. Галерея таких образов бесконечна — Тиберий Гракх, его брат Гай, Гай Марий, Ливий Друз, Сулла и Цинна, Серторий, Катилина, Помпей, Клодий и Анний Милон, венчающий этот ряд Юлий Цезарь. А скольких мы не знаем!.. А сколько людей остались в тени, во втором ряду — Марк Октавий, Гай Антоний, Корнелий Долабелла, Гай Курион!

В этих условиях иными становятся литературные документы, призванные рассказать о жизненном пути человека. В 40—30-е годы I в. до н. э. зарождается и расцветает литературный жанр, знаменующий перелом в понимании отношений между человеком и историей, жанр, которому суждено было сыграть важную роль в литературе раннего принципата и к которому близок «Агрикола»,— так называемая «историческая монография». Жанр этот подробно охарактеризовал Цицерон в письме к Луцию Лукцею (июнь 56 г.). Интересующее нас рассуждение сводится к тому, что Лукцей пишет историю Рима своего времени, дошел уже до диктатуры Суллы и намеревается продолжать свое повествование дальше в порядке событий, Цицерон же просит его отступить от хронологического принципа и рассказать отдельно о заговоре Катилины и роли самого Цицерона в его подавлении. Такой развернутый эпизод исторического повествования, как явствует из письма, должен представлять собой самостоятельное, отдельное произведение. Это сочинение призвано передать эмоциональный колорит времени — «разнообразие обстоятельств» и «превратности судьбы», а главное, концентрировать рассказ о времени в рассказе о человеке. «Ведь самый порядок летописей не особенно удерживает наше внимание — это как бы перечисление должностных лиц; но изменчивая и пестрая жизнь человека — а тем более человека выдающегося — вызывает изумление, чувство ожидания, радость, огорчение, надежду, страх, а если они завершаются примечательным концом, то от чтения испытываешь приятнейшее наслаждение» [4].

Как видим, речь идет не просто о кратком посмертном восхвалении или об эпитафии — жанрах, типичных для предшествующего периода, а о развернутом рассказе о выдающейся личности и ее деяниях на фоне событий времени и в неразрывной связи с ними.

Рост внимания к человеку как к подлинному субъекту исторического процесса приводит в эти же годы и к оформлению биографии в собственном смысле слова. Отличие ее от «исторической монографии» состояло в том, что последняя представляла собой документ общественной борьбы времени, созданный, как правило, одним из ее участников и направленный на прославление или осуждение описываемого лица,— биографические данные, подчас весьма развернутые, призваны были служить лишь материалом для реализации этого замысла; в жизнеописании, напротив того, рассказ о событиях и обстоятельствах жизни приобретал самоценный характер, становился занимательным чтением. Собрание именно таких рассказов представляло собой сочинение Корнелия Непота «О знаменитых мужах», вышедшее первым изданием около 35 г. и вторым — около 29 г. до н. э. Здесь мало истории и много mots, анекдотов, нравоучений. Тип биографического очерка еще не выработался — повествование то идет от события к событию, то следует изложенной в начале жесткой схеме. Но здесь уже есть главное, чего прежде не было,— живой интерес к человеку, которого Непот видит в каждом государственном деятеле и полководце.

Какой тип отношений между человеком и гражданской общиной отразился в жизнеописаниях середины I в. до н. э.? Предельно кратко на этот вопрос можно ответить так: тождество уступило место единству. В глазах окружающих человек не исчерпывается больше своей службой общине. Он обладает особенностями, личными свойствами, неповторимой индивидуальностью, которые воспринимаются сами по себе и вызывают определенное к себе отношение. Полководец Фабий Максим в изображении Тита Ливия неповоротлив, медлителен, упрям, осторожен, не выносит новшеств; государственный деятель II в. Лелий Младший, такой, каким он представлен в диалоге, носящем его имя у Цицерона, вдумчив, широко образован, он верный и любящий друг; Катон Старший у Непота энергичен, напорист, умен цепким, практическим умом. Этими или сходными качествами отличался, наверное, не один человек и в то время, и до него, но только теперь они стали вызывать интерес, требовать разбора и изображения. Изображения, однако, особого, направленного прежде всего на выявление той пользы или того вреда, который эти осознанные личные свойства при-

носят государству. Человек выделился из общины, но рассматривается еще с точки зрения ее интересов, и именно они образуют единственно существенное содержание его новообретенной индивидуальности. Фабий Максим действительно и упрям, и медлителен, и осторожен, но органические это его черты или принципы поведения, усвоенные им по тактическим соображениям, исходя из характера войны, в которой он участвует, в конечном счете неважно. Характеристика его у Ливия завершается стихом Энния: «Он промедленьем своим из праха республику поднял». Биография Катона у Корнелия Непота, а тем более посвященное ему сочинение Цицерона строятся точно так же: перед нами интересный и сложный человек, но мерилом его ценности остается служение государству.

Третий и заключительный период в развитии римской биографической литературы, к которому относится и «Жизнеописание Агриколы», приходится на вторую половину I в. н. э.[4а] Если сущность первого из периодов, намеченных выше, состояла в тождестве человека и гражданской общины, сущность второго — в их противоречивом единстве, то главное содержание третьего составляет их наметившийся разрыв. Человек оценивается отныне не столько по своему общественному поведению или по официальному признанию, сколько по тому содержанию личности, которое оставалось за вычетом этого поведения и этого признания. Основой оценки и самооценки человека теперь становился именно такой *«остаток»*[5], неведомый эпохе Сципионов и лишь угадывавшийся в облике некоторых современников Цицерона. У Сенеки, в частности в его «Нравственных письмах», составленных в 64—65 гг., это понятие ощущается как только что открытое автором и потому обсуждаемое и защищаемое с особой энергией. Им книга открывается: «Отвоюй себя для себя самого»; им она продолжается: «Вовнутрь обращены твои достоинства»; им она завершается: «Считай себя блаженным тогда, когда сам станешь источником всех своих радостей... Ты тогда будешь истинно принадлежать самому себе, когда поймешь, что только обделенные счастливы»[6].

Из биографической литературы конца I в. н. э., отразившей эти изменения в типе личности, нам известны, если не останавливаться пока на «Агриколе» Тацита, лишь мартирологи вождей стоической оппозиции. Ни

один из них до нас не дошел, но мы знаем многих из тех, чьи жизни были там рассказаны, знаем обычно авторов, знаем кое-что об условиях создания этих книг и их судьбе [7]. Все это дает возможность составить о них определенное представление. Психологический портрет Остория Скапулы, например проступающий из глубины рассказа о британской кампании 47/48 г.,— один из шедевров Тацита [8]. Перед нами блестящий государственный деятель и полководец. Консул в середине 40-х годов, он почти тут же, в 47 г., назначается на трудную и почетную должность префекта еще не замиренной Британии. Прибыв в провинцию в начале зимы, он, невзирая на неблагоприятное время года, устремляется на врага и добивается ряда решающих побед. Действия его против британских племен изобличают в нем опытного и талантливого военачальника. Успехи его вознаграждены: сенат присваивает ему триумфальные знаки отличия и, что было особенно почетно, тем же актом постановляет возвести в связи с его победами триумфальную арку императору. Но успехи и победы давались ему непросто, и чем дальше, тем острее чувствовалось, что они — результат самодисциплины, опыта и воли, которые вступают во все углубляющееся противоречие с душевным состоянием командующего. Уже перед решающей битвой «римский полководец стоял, ошеломленный видом бушующего варварского войска. Преграждавшая путь река, еще выросший за ночь вал, уходившие в небо кряжи гор — все было усыпано врагами, все внушало ему ужас». Осторий овладел собой, вдумался в положение и на этот раз добился победы. Но она была последней. Постепенно он стал заниматься войной вполсилы, солдаты забирали все больше воли, и Осторий не мог или не хотел с ними справиться, пока наконец, неожиданно для окружающих, не умер, «измученный заботами, от которых ему стало невыносимо тошно».

Под тем же бременем умер в разгар походов предшественник Веспасиана в Иудее Цезенний Галл. И то же ощущение посторонности и потому невыносимой тяжести государственных забот испытывал в эти же годы прокуратор провинции Сицилия Луцилий Юниор, адресат «Нравственных писем» Сенеки. Его пример тем более показателен, что молодость он провел в военной службе и дальних опасных путешествиях, а в 64 г. Сенека поздравляет его: «Ты больше не странствуешь, не тревожишь

себя переменой мест. Ведь такие метания — признак больной души... ты забросил все дела и помышляешь только о нравственном самоусовершенствовании».

«Остаток» личности становился выражением ее несоответствия деловито и бодро развивающейся политической действительности; он был неотделим от общественной позиции и тем самым от жизненной судьбы, внутренняя биография переплеталась с внешней, и эта взаимосвязь должна была находить отражение в жизнеописаниях подобных людей. Только при этом условии становится понятно, почему сочинение «О происхождении и жизни Остория Скапулы» — внешне ведь, в конце концов, вполне благополучного полководца, умершего на театре военных действий, никогда, кажется, ни в чем не замешанного и ничем не скомпрометированного,— могло явиться поводом для обвинения автора этого произведения в государственной измене. Таких книг, как жизнеописания Остория или Тразеи, в это время было много. То была форма римской биографии, глубже всего связанная с духовной и общественно-исторической проблематикой именно данной эпохи.

Возникновение «остатка» как ценностной характеристики личности и отражение этого в биографической литературе знаменовало конец прослеженной выше эволюции биографических жанров. Главное содержание этой эволюции состояло в исследовании меняющихся, но всегда неразрывных отношений между гражданином и гражданской общиной; главный итог в том, что эти отношения принимали форму противоречия. «Жизнеописание Агриколы» представляло собой попытку это противоречие разрешить и доказать совместимость былого единства личности и государства (отсюда — сознательная стилизация под старинные формы биографии разных периодов) с существованием «остатка» (отсюда — неорганичность традиционных жанровых признаков, связь с современной Тациту мартирологической литературой, а во многом и выход за пределы жанра, каким он был до Тацита).

3. Проблема «остатка» в «Жизнеописании Агриколы». Уже во вступительных главах к разбираемому сочинению обращает на себя внимание противоречие, которое вводит нас в самую суть образа Агриколы. Тацит говорит здесь о том, что цель его сочинения — прославить доблесть своего героя. Между тем, как бы ни менялось на протяжении I в. содержание римской «доб-

лести», главным в этом понятии всегда было и оставалось нравственно бескомпромиссное и действенное отношение к жизни государства; «добродетели» же, virtutes, Агриколы, которые Тацит решил сделать исходным пунктом всего своего повествования о пережитой эпохе, такой общепонятной «доблести» явно не соответствовали. Главное в Агриколе — в полной противоположности с традиционным образом героя биографической литературы — сознательный отказ от громкой славы, готовность к компромиссу, а нередко — и сознательная пассивность. «В ранней молодости... его возвышенный и порывистый ум и в самом деле домогался с неосмотрительной и безрассудной страстностью великолепного блеска огромной и всезатмевающей славы. Но размышления и годы в дальнейшем его образумили, и он, что труднее всего, удержался в пределах мудрой умеренности» (4, 3) [9]. После победоносного завершения британской кампании Домициан, по словам Тацита, завидовал Агриколе и ненавидел его. Последний полностью отдавал себе в этом отчет, но вывод для него был только один — не выделяться, стать неприметным, слиться и раствориться. Вернувшись в Рим, он «замешался в толпу раболепных придворных» и не стал «отягощать праздных людей, среди которых оказался, своей славой военачальника» (40, 3; 4).

Такая жизненная установка делала неприемлемыми для Агриколы не только стремление выделиться и добиться громкой славы при дворе, но и противоположный путь — стоическую оппозицию принцепсам. Разоблачение последней как слишком внешнего и громогласного геройствования, несовместимого со скромным и «человекосоразмерным» мироотношением Агриколы,— один из лейтмотивов книги. Он звучит не только в прямых выпадах против тех, кто «снискал славу своей впечатляющей, но бесполезной для государства смертью» (42, 4), не только в прямых противопоставлениях Агриколы, «не искавшего славы», тем, кто «искушает судьбу непреклонностью и выставлением напоказ своей независимости» (42, 3), но и в скрытых в тексте намеках. Так, характеризуя трибунат Агриколы, Тацит пишет, что тот провел этот год «в покое и в стороне от общественных дел, ибо знал, что в условиях Неронова правления бездеятельность была заменой мудрости» (6, 3). Слово «мудрость» (sapientia) было обозначением именно философского, стоического идеала поведения, и предпочтение ему безделья придавало всей

ситуации иронический и антистоический характер. Такой же намек на аффектированную суровость стоиков скрыт в указании на сдержанность Агриколы при оплакивании умершего сына: «это несчастье он перенес без показной стойкости, которой тщеславятся многие доблестные мужи» (29, 1).

Неудивительно, что выбор человека такого облика в качестве героя биографического сочинения требовал оправдания. Оно состояло для Тацита прежде всего в верности жизненной правде. Агрикола, как и сам Тацит, принадлежал к той эпохе, когда несводимость человека к его прямой и практической государственной деятельности стала аксиомой. К этому вела вся логика развития римской гражданской общины в эпоху Ранней империи, на это указывала эволюция биографического жанра, таков был итог двадцати лет магистратской деятельности Тацита. В центр его исторического труда должна была встать с самого начала не героическая фикция, а живая современная личность. Отсюда — та особая палитра, с которой Тацит брал краски для изображения своего героя, призванного воплотить не риторическое, старомодное и ходульное величие, а новое — скромное, человечное, раздумчивое достоинство. Скромность Агриколы, явствовавшая и из рассказанных Тацитом фактов, и из прямых авторских оценок, призвана была контрастировать с пламенным честолюбием вечно добивавшихся триумфов и почестей полководцев былых времен, как его человечность, мягкость, подверженность горестям и страданиям — оттенять свирепую суровость «нравов предков». Назначенный командиром мятежного XX легиона «и получив предписание наказать непокорных, Агрикола проявил исключительную умеренность и предпочел сделать вид, будто нашел воинов готовыми к повиновению, а не принудил их стать таковыми» (7, 3). Слова эти заставляли вспомнить расправы Германика, зверства Корбулона, массовые казни солдат при Гальбе, вспомнить всех подражателей «полководцам древних времен». Даже внешность Агриколы, «скорее приятная, чем внушительная», с чертами лица, в которых «не было ничего властного и которые неизменно выражали лишь благожелательность» (44, 2), была нарушением канона молодости, красоты и величия, которые по традиции так ценила в государственных руководителях римская толпа.

В изображении Тацита Агрикола отличался той новой особенностью, которую мы договорились условно называть «остатком». Ключевая фраза в этом смысле — 44,3: «Ведь по достижении им истинных благ, которые покоятся в добродетелях, а также консульских и триумфальных отличий, чем еще могла бы одарить его судьба?» Слова об «истинных благах», противопоставленных благам внешним и несущественным, представляли собой распространенную философскую формулу, прекрасно известную Тациту и бывшую на слуху у его читателей. Повторяя ее, Тацит подчеркивал, что для его героя почетные результаты его государственной деятельности были чем-то ценным, но внешним, посторонним главному, внутреннему, духовному содержанию его жизни. В чем же тогда заключалось это содержание? Оно раскрывается в следующих же фразах, где перечисляется, чего реально достиг Агрикола и что тем самым и составляло для него «истинные блага»: состояние, не чрезмерное или огромное, но значительное; близость жены и дочери, родных и друзей; покой в сочетании с достоинством. Истинным благом, другими словами, явилась для Агриколы реализация его ранее изложенной жизненной программы: человекосоразмерность жизненной задачи; доброта и добросовестность; скромность, умеренность и податливость; умение спастись и спасти своих без вреда для других и активной подлости.

Эта программа предполагала невыявляемые в общественной деятельности ресурсы личности, особое, не карьерное, но и не стоическое упорство, своего рода мудрость, выражающуюся в самоограничении и умеренности. О «мудрости» Агриколы Тацит упоминает довольно часто — слишком часто для характеристики героя, действительно простого и подлинно немудрящего.

По мнению Тацита, именно подобные люди могли вывести римское государство из кризиса конца века. «Жизнеописание Агриколы» было не только биографией, но и назиданием, практическим рецептом поведения. Такая установка обнаруживается в книге весьма отчетливо. Во-первых, стиль собственно биографических глав, в которых раскрываются личность Агриколы и принципы его общественного поведения, входит в ораторскую, а не в биографическую традицию латинской прозы. Для этих глав характерны нечеткая и почти не указываемая хронология; обилие риторических эффектностей, призванных покрыть

отсутствие фактов; весь набор классических для ораторского обращения фигур речи. Во-вторых, произведения, посвященные прославлению погибших в репрессиях предыдущих царствований, читались в эту эпоху широко и публично для специально приглашенной аудитории. Тацит поступал, очевидно, так же, как все, т. е. рассчитывал на прямой и немедленный общественный резонанс.

Тацит, таким образом, активно принимал меры к тому, чтобы утвердить найденную им в «Агриколе» жизненную позицию в качестве практической нормы общественного поведения римского магистрата. Особенности его мировоззрения конца 90-х годов еще давали ему возможность всячески подчеркивать, будто скромный, спокойный, «негромкий», покладистый, не выказывающий никакого героизма Агрикола гораздо лучше выполняет государственные обязанности, больше предан «римскому делу», чем геройствующие оппозиционеры или равнодушные к римским традициям прагматики-служаки, будто наличие в современном человеке «остатка» отнюдь не обязательно предполагает отход его от государственных дел, ибо сам этот «остаток» может и должен быть заполнен служением государству. Именно благодаря появлению в современном человеке этого рефлектированного «остатка» служение государству могло и должно было стать не инстинктивным и нерассуждающим, как в древности, и не карьерным и корыстным, как при Нероне и Флавиях, а внутренне продуманным, сознательным и выбранным, спокойным и нравственно полноценным.

Мелковатый практицизм героя жизнеописания, по мысли Тацита,— лишь форма его деловитости, работоспособности, серьезной преданности государственным интересам. Попав под начало пассивного и мягкого наместника, «привыкший к повиновению и привыкший сочетать полезное с честным, Агрикола умерил свой пыл и ослабил рвение»; но «вскоре Британия получила наместником Петилия Цериала — теперь для способностей Агриколы открылся широкий простор» (8, 1—3), и он разворачивает успешную военную деятельность. Он замышляет опасный поход в Гибернию (совр. Ирландия) не из честолюбия, а потому лишь, что покорение ее позволит связать Британию, Испанию и Галлию единой системой воинских наборов и тем самым укрепит империю.

Сочетание «мудрости», исключавшей всякое наивное отождествление своей судьбы со служением res publica и

принцепсу, ее воплощавшему, с глубокой преданностью интересам этой самой res publica и готовностью реализовать себя на службе ей делало в глазах Тацита Агриколу «героем нашего времени», отличным и от продажных придворных, и от деятелей наивно старомодных, и от слишком сосредоточенных на своих добродетелях стоиков. На протяжении книги Агрикола много раз противопоставляется им всем: «И даже доброй молвы о себе, ради которой многие вполне честные люди не останавливаются перед заискиванием и лестью, он достиг, не выставляя напоказ своих добродетелей и не прибегая к проискам и уловкам» (9, 4). В «Жизнеописании Агриколы» выдвинут в качестве идеала общественного поведения в новых послефлавианских условиях известный Тациту еще по 70—80-м годам, унаследованный им от своего семейного окружения этико-политический комплекс «третьей силы», комплекс «трудолюбия и действенной энергии», но осмысленный теперь как самостоятельно выбранное содержание рефлектированного сознания — сознания того поколения, которое увидело, что человек не исчерпывается службой, и выразило это в биографической литературе нового типа. Возможность *осознанного* единства человека и res publica означала надежду на возрождение и укрепление в новых условиях исконных римских доблестей.

4. К диалектике личности. В «Агриколе», однако, нашли выражение не только эти надежды, но и их иллюзорность. Противоречие между традиционным набором ценностей римской гражданской общины и определявшимся на рубеже I и II вв. типом человека было результатом социально-политически обусловленного и потому необратимого общественного процесса. Обнаружившийся «остаток» личности не был вакуумом, готовым принять любое содержание; он был порожден крушением полисной системы ценностей и поэтому предполагал выход за ее пределы, предполагал новое, неполисное содержание этики и духовной жизни в целом. В этих условиях стремление возродить былые ценности и вернуть старую virtus, утвердить их в качестве норм практического поведения, после того как они именно общественной практике и перестали соответствовать, шло вразрез с таким необратимым историческим развитием. Материал книги и отразившиеся в нем объективные свойства ее героя грозили прийти в конфликт с созданной автором схемой.

Если выйти за рамки сконструированного Тацитом образа и рассмотреть действия Агриколы объективно, в реальном историческом контексте, становится очевидно, что верность его подлинным интересам развития империи, вся его «современность» должны были вести его к отказу от былых, коренившихся в республиканских традициях методов командования и управления. С собственно военной точки зрения в действиях Агриколы обращает на себя внимание широкое использование вспомогательных войск и очень ограниченное — легионов. С этим связана и другая особенность его военной тактики — небывало широкое и умелое применение флота. Личный состав флота, как и вспомогательных войск, набирался из провинциалов и неримских граждан, поэтому значение усвоенной Агриколой тактики выходило далеко за рамки военного командования как такового.

Постепенное вытеснение легионов вспомогательными войсками было одной из частных форм ликвидации господства римлян и их исключительного положения в империи. Защита государства от варваров во все растущей мере перекладывалась на сами провинции и их ополчения, что уравнивало провинциалов с римлянами и окончательно лишало традиции гражданской общины города Рима и ее историческую систему ценностей престижа и просто смысла. Развитие шло в этом направлении — во время первой Дакийской кампании Траяна, по крайней мере, три решающих сражения были выиграны вспомогательными войсками, и показательно, что на рельефах колонны Траяна соотношение легионеров и бойцов вспомогательных когорт довольно точно соответствует соотношению их в войске Агриколы. В британской армии Агриколы угадывается уже мавританское ополчение чернокожего Лузия Квиеты — популярного полководца последних лет правления Траяна. В той мере, в какой Агрикола шел этим путем, он не обнаруживал никаких расхождений с магистральной линией развития империи и ее людей, с воплощавшим эту линию Домицианом, и включение его в традицию римской virtus, а тем более выведение отсюда его конфликта с последним Флавием могло быть достигнуто лишь путем насилия над материалом.

Тациту надо было доказать, что между Домицианом и Агриколой существовала взаимная неприязнь и что она была неизбежна, так как «враждебный добродетелям принцепс» и преданный им полководец воплощали два

взаимоисключающих подхода к римской virtus. Между тем факты, приводимые Тацитом, показывают, что такой вражды не было, и ощущение ее создается с помощью намеков и расстановки стилистических акцентов. Агрикола командовал британской армией в течение семи лет, что само по себе было признаком величайшего доверия к нему императора. Отзыв его после всех этих лет из Британии не мог объясняться личной неприязнью, во-первых, потому, что Агрикола получил за свои походы все высшие военные почести; во-вторых, потому, что империя не могла себе больше позволить наступательных войн и отказ от Британии был продиктован этими общеполитическими соображениями. Утверждение, что ненависть Домициана к Агриколе была вызвана завистью, лишено всякого основания: Агрикола командовал опытной и хорошо подготовленной армией, имел дело с неорганизованным противником на узком фронте, одержал победы, для общего положения империи малосущественные, тогда как Домициан разгромил хаттов и создал засечную черту и Декуматский плацдарм на века; версия Тацита и Плиния Младшего о том, что германский триумф Домициана был бутафорским, не подтверждается ни одним из современников.

При отсутствии вражды соответственно не было и опалы: она не могла бы не сказаться на положении Тацита, как раз в это время находившегося в зените своей «вознесенной Домицианом» карьеры. Тем более не было отравления: сам Тацит на нем не настаивает и передает эту версию лишь как слух; другие современные источники при перечислении жертв Домициана Агриколу не упоминают. Все эти отступления от истины тем более показательны, что касаются все лишь одного пункта — конфликта Агриколы с Домицианом, тогда как в остальном Тацит скрупулезно точен: сведения, сообщаемые им о ежегодных британских кампаниях его тестя, как правило, подтверждаются археологически. Здесь речь шла об *изложении фактов*, достаточно убедительных самих по себе, там — о возможности и необходимости приспособления римской virtus к современному жизненному поведению вопреки тому, как изменились и Рим, и его люди, т. е. *вопреки фактам*. Поэтому «Жизнеописание Агриколы» — единственное произведение Тацита, где выстроен вполне метафизический образ действительности. В центре книги — две четко противопоставленные фигуры, каждая со своим

угадывающимся в глубине окружением — Домициан и Агрикола. Первый целиком плох, второй целиком хорош. Первый воплощает все черты традиционного образа тирана — правление вопреки законам и народным установлениям, ненависть к гражданской доблести, трусость и неумение воевать, лицемерие, скрытность и хитрость, жестокость, второй — столь же традиционные для римской литературы черты великого полководца: он прост и доступен в обращении, сам идет во главе войска, скромно умалчивает о своих победах, беспристрастен и прям, когда поощряет достойных и наказывает виновных, печется о безопасности солдат на марше и умело выбирает место для лагеря.

К счастью, этим назидательным контрастом «Агрикола» не исчерпывается.

В книге складывается определяющее для всего мышления и творчества Тацита понятие исторической нормы, о котором говорилось в конце предыдущей главы. Агрикола дорог Тациту тем, что противостоит и Домициану, и оппозиционерам; противостоит же он им потому, что сохраняет веру в возможность активно служить сегодняшнему государству, ориентируясь на систему его исторически сложившихся общественных и моральных ценностей. Эта преданность исторической норме гражданской общины мешала Агриколе и его биографу увидеть новых людей, освобождавшихся от полисной исключительности, и признать такое освобождение достоинством. Пока речь шла о программе поведения на сегодня и завтра, эта позиция вела к искусственной героизации тех, кто неспособен был откликнуться на призыв будущего, и порождала слабости разбираемой книги. Но в более далекой исторической перспективе развитие космополитической империи вело к ликвидации основной и необходимой формы античного мира — полиса, не принося в то же время никакого реального и подлинного общественного обновления.

В отсветах этого будущего менялась и найденная в «Агриколе» позиция. Противостояние эмпирии общественного развития становилось верностью res publica, верностью исторической норме римского мира. А без такой нормы, как мы видели, не мог сложиться и диалектический взгляд Тацита на историю. Неудивительно, что начатая «Агриколой» эпопея оказалась вопреки всем планам Тацита посвященной не современности, где эта норма становилась все более призрачной, а тому прошлому, где она

была еще живой и привлекательной, и изучая которое можно было попытаться установить, как она начала распадаться и что предвещал ее распад народу и государству римлян.

Глава восьмая

ДИАЛЕКТИКА КУЛЬТУРЫ. «ГЕРМАНИЯ»

Мы пользуемся общеупотребительным сокращенным названием для обозначения следующего в ряду малых произведений Тацита, написанного в 98 г. и именуемого в рукописях «О происхождении и местах обитания германцев». Причину его создания часто усматривают в том, что именно в 98 г. германские области вызывали усиленный интерес римского общества: совсем недавно, в октябре 97 г., соправителем императора Нервы был избран наместник провинции Верхняя Германия Ульпий Траян; с конца января 98 г., после смерти престарелого принцепса, он стал единоличным властителем империи, и всем хотелось угадать, как он себя поведет и как станет править. Но Траян в Рим не торопился, все дольше задерживался в германских землях, и любопытство, которое вызывали в Риме эти дикие края, почему-то оказавшиеся для молодого императора более привлекательными, нежели столица с ее удовольствиями и роскошью, росло не по дням, а по часам. Чтобы удовлетворить его, Тацит и взялся за новое сочинение.

Это одна из тех гипотез, опровергнуть которые так же невозможно, как и доказать. Может быть, пребывание нового, незнакомого и потому всех интересовавшего императора в Германии и сыграло свою роль в обращении Тацита к германскому материалу, но бесспорно, во всяком случае, что оно не могло быть единственной или даже главной причиной. Книги Тацита составляют единый цикл, связанный внутренней логикой, и сюжет каждой из них определяется предыдущей; в них приходит к самосознанию грандиозная культурно-историческая эпоха, из глубины которой и вырастают их темы; мышление Тацита отличалось, по выражению его друга Плиния Младшего, «возвышенной серьезностью» [1]. В этих условиях вряд ли хроника столичной жизни могла определить выбор темы одного из самых значительных его произведений. Подлинные причины обращения к германской теме должны были лежать несравненно глубже.

Одна из них нам известна и была проанализирована в главе «Тацит и провинции»: связанный происхождением с галло-германским пограничьем, Тацит всю жизнь проявлял повышенный интерес к проблемам романизации западных провинций, так как видел в ней одну из граней того исторического процесса, который волновал его больше всего,— превращения Рима — гражданской общины в Рим — мировую империю. С этой точки зрения «Германия» занимает свое естественное место между провинциальной службой 89—93 гг. и рассказом о британских кампаниях Агриколы, с одной стороны, и вероятным пребыванием в провинциях в 102—105 гг. и развернутой в «Истории» галло-германской эпопеей — с другой.

Вторая причина состояла, по-видимому, в том, что диалектический взгляд на историю развивался у Тацита постепенно, как результат непреложной, внутренне обусловленной эволюции, и каждое следующее произведение представляло собой закономерный этап этого развития. «Германия» знаменовала следующий после «Агриколы» важный и необходимый шаг на пути к постижению истории в ее диалектике. Чтобы в этом убедиться, необходимо некоторое отступление.

1. Два взгляда римлян на неримский мир. Как и большинство его современников, Тацит мыслил в категориях, сложившихся задолго до этой эпохи, в недрах римской гражданской общины. В число таких понятий входила и гражданская община как единственный подлинный, достойный и благой мирок, тесный и обжитой, привычный и понятный, которому противостоит вся остальная бесконечность земного круга — враждебная, причудливая и злая. Этот строй мыслей и чувств существовал в Риме, как во всяком полисе, искони и обусловливал многое в его войнах и его политике.

Уже с III в. до н. э., когда римские владения начали выходить за пределы собственно Италии, возник вопрос о том, как сочетать присутствие победоносных римлян с существованием местного населения, и значительное большинство в сенате и на Форуме не сомневалось в необходимости и своем праве превратить захваченные территории целиком в земельный фонд римского народа, а жителей обречь на бегство или вымирание. Катон Старший всю жизнь действовал в соответствии с этим убеждением, то истребляя местные племена в Испании, то убеждая по любому поводу сенат, что «Карфаген должен быть разру-

шен». Это воззрение сохранялось и в последующие века — сохранялось потому, что оно не исчерпывалось своим военно-политическим содержанием, а опиралось на исконно полисное, впитанное с молоком матери убеждение, что неграждане — это не люди или, во всяком случае, не такие люди, а потому и не совсем люди. Как гуманист и последователь греческих философов эпохи эллинизма, Цицерон талантливо и ярко излагал доктрину стоиков о природном равенстве людей и духовном единстве человечества; как римлянин и политик, он думал и чувствовал нечто совсем иное: «Превращение римлян в чьих бы то ни было слуг есть нарушение закона мироздания, ибо по воле богов они созданы, дабы повелевать всеми народами» [2].

Связь подобных воззрений с порядками гражданской общины видна и из того, что уже после создания империи их отстаивали в первую очередь идеологи сенатско-аристократической оппозиции с их культом римской старины и декларативной верностью полисным традициям. Тразея элегически вспоминал о том времени, когда «целые народы трепетали перед приговором, выносимым даже и одним римским гражданином» [3], а вождь сенатской оппозиции при Нероне Кассий Лонгин руководствовался этими же чувствами и в своей практической деятельности магистрата, и в своих теоретических воззрениях юриста. Пока полисная система взглядов сохраняла хоть в какой-то мере свой престиж, такое отношение к иноплеменным народам исчезнуть не могло.

Если это отношение к иноплеменникам проистекало из причин, общих для Рима и других древних обществ, и если в этом смысле он ничем не отличался от современных ему раннегосударственных образований, то другая и во многом противоположная традиция, не менее упорно и долго жившая среди «одетого тогами племени», была характерна, насколько можно судить, именно и только для Рима. Об этой иной традиции нам уже приходилось упоминать в связи с характеристикой коллегии квиндецимвиров. Возникший из соединения ряда обитавших в Лации разнородных этнических групп, из длительного и постоянного взаимодействия с соседними этрусками, римский город-государство с самого начала вобрал в себя множество внешних и разных социально-политических, идеологических, культурных элементов, и жители его привыкли видеть в окружающих народах не только вра-

гов, но и партнеров, не только носителей чуждых обычаев и нравов, но и источник обогащения собственного строя жизни. «Основатель нашего государства Ромул отличался столь выдающейся мудростью, что видел во многих народностях... сначала врагов, потом граждан»[4].

Отразившись в легендах об основании города, о правлении в Риме этрусских царей, в рассказах сначала о борьбе, а затем о союзе патрициев и плебеев, эта двойственность прочно вошла в народное сознание, и собственно римский принцип отношения к другим народам на протяжении всей истории гражданской общины реализовался во взаимодействии и борьбе обоих начал — открытости с замкнутостью, специфически римского «космополитизма» со столь же своеобразным античнo-полисным «шовинизмом».

Ярким проявлением этой борьбы было, например, столкновение Сципиона с Катоном в конце III и начале II в. до н. э. Сципион стремился укрепить господство римлян в Средиземноморье, добиваясь союза с отдельными странами, стимулируя и используя противоречия между ними, возможно шире распространяя в провинциях клиентельные связи, относясь с демонстративным уважением к традициям, верованиям и достоинству союзников и провинциалов. Он отпускал по домам пленных, устраивал свадьбы испанских вождей, обедал у африканских царьков, долго и серьезно беседовал со своим многолетним противником Ганнибалом, отговаривая его от решающего сражения при Заме, а когда тот не послушался, проиграл битву и Карфаген пал, Сципион сделал все, чтобы спасти город от разрушения, как несколькими годами позже он спас от гибели сыновей сирийского царя Антиоха. Уничтожение побежденных противников казалось ему самой примитивной и недальновидной тактикой. В отличие от Катона, которому весь свет представлялся варварской пустыней, делившейся на уже покоренную и ограбленную часть и часть, еще не покоренную и потому еще не ограбленную, Сципион действовал в живом многообразном мире, населенном бесконечным количеством народов, среди которых Риму надлежало занять первое место потому, что он был более жизнеспособным, открытым, умеющим расти и усваивать, совершенствоваться, приноравливаться к вечно меняющимся условиям, готовым иметь дело со старыми и новыми, растущими или никнущими, но всегда реально существующими государствами, племе-

нами и странами и добиваться господства над ними, становясь на сторону то одних, то других.

Вопреки распространенному со времен Моммзена мнению, тактика Сципиона была глубоко народной, отражавшей в конечном счете интересы старого италийского крестьянства, которое он посредством дипломатии и используя союзников спасал от истребления во все более далеких и непонятных завоевательных походах, в то время как Катон и его единомышленники в сенате, одержимые презрением к другим народам и жаждой захватов, отрывали крестьян от хозяйств и гнали их в сражения, где перемалывалась эта становая сила республики.

Катон выражал в этом столкновении политические принципы, типичные для развитого города-государства, стремящегося к росту, обогащению и захватам; Сципион же, пытаясь сохранить старое свободное римское крестьянство и атмосферу древней внутриполисной демократии, оказался в конфликте с нобилитетом и все более жившей за его счет чернью и потерпел поражение. На полтора столетия в Риме утвердилось в качестве официальной линии то презрительно-хищническое отношение к иноземью, которое в большой мере было присуще всякому полису, но теперь усиленно использовалось олигархией Римской республики. Однако обозначившийся в эти годы и в дальнейшем углублявшийся кризис римского города-государства создавал в то же время благоприятные условия для реабилитации исконно римского «космополитизма» сципионовского толка. II в. и начало I в. до н. э. были временем эллинизации римской идеологии, искусства и быта, за рамками официального консерватизма неуклонно рос интерес к неримским очагам культуры, пока, наконец, многие принципы, некогда высказанные Сципионом, не восторжествовали в политике и идеологии империи. В этом отношении, как и в столь многих других, империя означала не отмену древних римских традиций, а возрождение в новых условиях некоторых наиболее исконных из них, не всегда вмещавшихся в официальный кодекс городской республики последнего периода ее существования. Сципион с удовольствием и пониманием прочел бы многие оды Горация, где греческое и римское сливаются в единой культуре, и с глубоким удовлетворением узнал бы свои заветные мысли в речи императора Клавдия, где формулировались основы провинциальной политики принципата [5].

В Ранней империи с ее специфическим общественным и духовным строем, соединявшим многие традиции республики с дореспубликанскими и внеримскими формами жизни, обе эти исконные линии в отношении к окружающим народам продолжали существовать, и обе они в своей противоречивости нашли отражение в творчестве Тацита. Он, как мы видели, понял то, чем руководствовались народы провинций и покоряемых земель в борьбе против римлян, и показал, как много естественного и справедливого было в этой борьбе. Но не так уж редко обнаруживается в его творчестве и прямо противоположное отношение к этим народам — кровожадное, хищно-шовинистическое, нелепо и мертво аристократическое. Оно проявляется в рассказах о расправе с галльскими вождями Марикком и Валентином, с племенем гельветов [6], в нарочито восторженном описании действий Светония Паулина в Британии [7] и особенно ярко, когда речь идет об истреблении германских племен: «Пало свыше шестидесяти тысяч германцев, и не от римского оружия, но, что еще отраднее, для услаждения наших глаз» [8].

Как соединялись в творчестве Тацита эти две противоположные тенденции, становится ясно, если обратить внимание на одну особенность его описаний, вроде только что приведенного. В них всех явно ощущается внутреннее напряжение, проистекающее из стремления сохранить во что бы то ни стало верность взглядам, мертвенность которых автору ясна. «При сравнении со Старшим Катоном,— писал один из лучших в наше время знатоков Тацита,— и даже с Саллюстием, который так охотно принимал на себя роль римлянина старой складки, становится очевидным, что вся эта староримская жестокость и грубость Тацита далека от непосредственности» [9].

Описанный выше «сципионовский» принцип отношения к другим народам был во многом реализован в политике императоров, и сам Сципион воспринимался как предшественник принципата. Не случайно Сенека писал, что «или свобода, или Сципион должны были уйти из Рима» [10], повторяя то противопоставление, в котором обычно фигурировали «свобода или принципат» [11]. «Катоновский» принцип, напротив, как бы воплощал верность заветам замкнутой общины, городской республики, суровости предков, чистоте их нравов, их virtus; именно его имя, как и имя его правнука Катона Младшего, погибшего в борьбе с Юлием Цезарем, служило для осуждения

императорской эпохи. Для Ранней империи, как мы неоднократно убеждались, характерно было именно это сосуществование в их нераздельности и несводимости римской, городской, и внеримской, космополитической, систем убеждений и взглядов. Тацит воспринял эту двуединую систему взглядов еще в молодости, и следы ее сохранялись в его творчестве до конца. Именно поэтому даже в конце «Анналов», т. е. незадолго до смерти, он, уже давно поняв всю обреченность староримской системы ценностей, заставляет себя тем не менее вспоминать в одном контексте с древней virtus о прямолинейном и наглом римском шовинизме Катона и стилизоваться под него в «далеком от непосредственности» тоне.

Историческое положение Тацита, однако, позволило ему и в этой области не только ощутить общественные противоречия и запечатлеть их в их былой непримиримости, но и выразить всю их относительность и диалектику, понять, что они как раз в своей нераздельности и составляли особенность пережитой и уходящей эпохи. Одним из таких диалектических прозрений и явилась его «Германия».

2. Культура и варварство. «Германия» представляет собой описание общественной жизни, быта, нравов и верований германцев. В течение столетий римляне воспринимали эти племена и народы как своего рода эталон дикого, нецивилизованного общества. Содержание «Германии», таким образом, составляет описание общественного состояния, которое древние, как бы они к нему ни относились, называли варварством; слова «германцы» и «варвары» Тацит на протяжении всей книги употребляет как синонимы. Состояние это характеризуется для него двумя главными чертами — экономической отсталостью и отсутствием развитой государственности.

Исходная для Тацита особенность германцев — это их бедность. Они живут в примитивных домах-хижинах, а зимой — в ямах, «поверх которых наваливают много навоза» (гл. 16). В бедности проходит вся их жизнь — дети всегда «голые и грязные» (гл. 20), взрослые, «не прикрытые ничем, кроме короткого плаща, проводят целые дни у разожженного в очаге огня» (гл. 17), «похороны у них лишены всякой пышности» (гл. 27). Хозяйственный уклад германцев примитивен — «от земли они ждут только урожая хлебов» (гл. 26), «единственное и самое любимое их достояние» — скот (гл. 5). Соответственно

платежи у них производятся в натуральной форме — в виде отдачи вождю и дружине «кое-чего от своего скота и плодов земных», подарков, дележа добычи между племенами — «принимать деньги научили их мы» (гл. 15; ср. гл. 5).

Германцы не знают даже минимального изобилия, необходимого для эстетического оформления жизни. Дома свои «они строят, не употребляя ни камня, ни черепицы; все, что им нужно, они сооружают из дерева, почти не отделывая его и не заботясь о внешнем виде строения и о том, чтобы на него приятно было смотреть» (гл. 16). Так же мало внимания уделяют германцы и привлекательности одежды (гл. 17). Им неведома столь развитая у греков и римлян своеобразная эстетика зрелищ. «Вид зрелищ у них единственный и на любом сборище тот же: обнаженные юноши, для которых это не более как забава, носятся и прыгают среди врытых в землю мечей и смертоносных пик» (гл. 24).

При отсутствии минимального изобилия нет обеспеченного досуга, создающего предпосылки для размышления, творчества и в первую очередь образования. Германцы отсталы и неграмотны. «Тайна письма равно неведома мужчинам и женщинам» (гл. 19). Ни о каких школах для детей и юношества здесь нет и речи. Во всех слоях общества дети «долгие годы живут среди тех же домашних животных, копошатся в той же земле» (гл. 20).

В этом обществе нищеты и неразвитости духовная жизнь оказывается всецело связанной с религией, исполненной дикости и суеверий. «В установленный день представители всех связанных с ними по крови народностей сходятся в лес, почитаемый ими священным, поскольку в нем их предкам были даны прорицания и он издревле внушает им трепет, и, начав с заклания человеческой жертвы, от имени всего племени торжественно отправляют жуткие таинства своего варварского обряда» (гл. 39).

Главное в германской религии для Тацита — это ее бесчеловечность, страх, давящий личность и уничтожающий ее. Роща, о которой здесь идет речь, внушает германцам постоянно гнетущий ужас, и именно это чувство панического ужаса составляет для них суть религиозного переживания.

Другая важнейшая характеристика общественного состояния германцев — отсутствие у них развитой госу-

дарственности. Ни «цари не обладают у них безграничным и безраздельным могуществом», ни военные вожди «не наделены подлинной властью» (гл. 7). И те и другие «больше воздействуют убеждением, чем располагая властью приказывать» (гл. 11). У германцев поэтому с их родоплеменным укладом, народными собраниями, патриархальностью общественных отношений царит догосударственная свобода (гл. 11, 20).

Она находит свое выражение прежде всего в отсутствии общественной дисциплины и ответственности перед общенародными интересами. Проводя всю жизнь в боях и набегах, германцы тем не менее не умеют воевать, а лишь «сшибаются в схватках» (гл. 30), движимые минутными страстями и своекорыстными интересами. Подчиняясь последним, например, племена, соседствовавшие с народом бруктеров, почти полностью истребили его, и «ненависть народов Германии к своим соотечественникам» (гл. 33). Тацит рассматривает как залог сохранения римлянами своих завоеваний в этой стране.

Неспособность согласовать все усилия и направить их в единое русло, отсутствие выдержки и дисциплины характеризуют не только поведение германцев на поле боя и не только их общественное устройство — они обусловливают и все их повседневное существование. Здесь каждый сам себе голова, каждый волен преследовать собственные цели и потому враждовать с каждым. «Встав ото сна, который у них обычно затягивается до позднего утра, они умываются, чаще всего теплой водой, как те, у кого большую часть года занимает зима. Умывшись, они принимают пищу; у каждого свое отдельное место и свой собственный стол. Затем они отправляются по делам и не менее часто на пиршества, и притом всегда вооруженные. Беспробудно пить день и ночь ни для кого не постыдно. Частые ссоры, неизбежные среди предающихся пьянству, редко когда ограничиваются перебранкой и чаще всего завершаются смертоубийством или нанесением ран» (гл. 22).

Анархическая свобода германцев имеет оборотную сторону: как ни независим каждый, все вместе они покорны тирании. Во второй части книги рассказ Тацита строится как ряд сообщений об отдельных племенах, все более удаленных от хорошо ивестных римлянам прирейнских народностей. По мере этого движения характер общественной организации германцев как бы меняется. Уже

живущие неподалеку от Рейна хаты отличаются своим умением повиноваться военачальникам. Живущие дальше на восток маркоманы и квады представляют собой огромные народы, которые при этом подчиняются единой власти царя (гл. 42). К северо-востоку от них Тацит помещает лугиев, а «за лугиями обитают готоны, которыми правят цари — несколько жестче, чем у других народов Германии, однако еще не вполне самовластно» (гл. 44). Их северные соседи уже всецело покорны своим правителям, тогда как еще дальше, на островах Океана, живут свионы, которыми «повелевает единый властитель, не знающий ограничений и не заботящийся о согласии подданных ему подчиняться» (гл. 44). Неуклонно нарастающее самовластье правителей и рабская покорность народов достигают апогея у ситонов, располагающихся на самом краю света,— ими неограниченно и единодержавно, как некое божество, правит женщина (гл. 45).

Во второй части книги, где описывается покорность германцев тирании, Тацит изображает их племена по отдельности и последовательно; в первой, в которой рассказывается об их анархической свободе, дается обобщенный образ Германии, основанный на наблюдениях над теми же племенами и народами. В основе обеих частей книги, другими словами, лежит один и тот же материал, и раболепие наряду со своеволием оказываются сосуществующими характеристиками одних и тех же германцев. Тацит не видит здесь противоречия, оба эти свойства образуют для него взаимосвязанные проявления единого начала — варварства.

Варварство, однако, не единственная тема «Германии».

Язык этого произведения отличает одна любопытная особенность — в книге необычно много (около 20%) отрицательных предложений по форме или по характеру высказываемой мысли. «Страна их, в общем достаточно плодородная, непригодна для плодовых деревьев; мелкого скота в ней великое множество, но по большей части он малорослый, да и быки лишены обычно венчающего их головы горделивого украшения» (гл. 5). «У них не заметно ни малейшего желания щегольнуть убранством, и только щиты они расписывают яркими красками. Лишь у немногих панцири, только у одного-другого металлический или кожаный шлем. Их кони не отличаются ни красотой, ни резвостью» (гл. 6) и т. д. Особенно показательна гл. 27, первая часть которой сплошь состоит из отри-

цательных предложений. Извлечение информации из высказываний такого типа основано на внутреннем сопоставлении отрицательного суждения с соответствующим ему положительным. Непригодность почвы для плодовых деревьев составляет ее содержательную характеристику лишь в глазах читателя, который привык видеть вокруг себя плодовые сады и рощи. Эта особенность стиля Тацита сразу наталкивает мысль на сравнение: Германия воспринимается сквозь призму знаний об Италии, за германцами здесь все время стоят римляне. Писатель не скрывает эту свою установку — в книге нередки и прямые сравнения: «их не приучают к вольтижировке, как это делается у нас» (гл. 6), «свои деревни они размещают не так, как мы» (гл. 16), «они делят год менее дробно, чем мы» (гл. 26).

Исследователи нового времени по-разному определяли задачу, которую ставил перед собой Тацит при написании «Германии», но подавляющее большинство в настоящее время признает, что сравнение с Римом играло здесь главную роль. Текст книги полностью подтверждает этот взгляд. Дело не только в подразумеваемых или высказанных сопоставлениях. Даже там, где изложение Тацита ведется как нейтральный, вполне объективный рассказ, оно изобилует намеками и напоминаниями, которые от наших глаз подчас ускользают, но римского читателя все время приводили к мысли о контрасте его действительности и мира, описанного в книге. «Ограничивать число детей или умерщвлять кого-либо из родившихся после смерти отца считается среди них постыдным» (гл. 19).

Оба этих обыкновения были важными проблемами для римлян I в. В знатных и богатых семьях всячески избегали деторождения. Это лишало семью устойчивости, множило число внебрачных связей, запутывало вопросы наследования и плодило ловцов завещаний, было одной из ярких форм моральной деградации общества, с которой тщетно вели борьбу императоры. У Тацита об этом не сказано ни слова; он просто констатирует, что у германцев ограничивать рождаемость не принято, но римский читатель знал, как остро стоит этот вопрос в римских семьях, и внешне нейтральная констатация заставляла его задумываться над сопоставлением германских и римских порядков. Точно такой же смысл имело и сообщение об убийстве новорожденных, почему-либо семье нежелательных. Именно с данного времени этот старинный римский

обычай, как и иные формы жестокости, начинает встречать моральное, а затем и юридическое осуждение. Упоминание о том, что германцы его не знают, содержало скрытую отрицательную характеристику этих сторон римского семейного права. Подобное же косвенное изображение римской действительности в виде изображения действительности германской заключалось во фразе: «Пища у них простая — дикорастущие плоды, свежая дичина, кислое молоко» (гл. 23) — и во многих других сходных.

Примечательно, что в обоих цитированных отрывках сообщаемые Тацитом сведения неточны. Право отца признать или не признать новорожденного и убийство младенцев, семьей не признанных, были характерны не только для римлян, но и для древних германцев; их рацион питания отнюдь не был столь примитивен, как говорится в книге. Мнение о том, что Тацит плохо представлял себе описываемую им действительность и что соответственно такого рода неточности могут объясняться неосведомленностью автора, в настоящее время должно быть оставлено [12]. «Если попытаться установить, что перевешивает — совпадения или противоречия — при сопоставлении литературных данных, содержащихся у Тацита, и данных археологии, приходится признать, что соответствия тут многочисленны, а расхождения относительно незначительны. Отрицать последние нельзя, но они не могут хоть сколько-нибудь серьезно поставить под сомнение компетентность римского автора» [13]. Тацит хорошо знал жизнь прирейнских племен, и отступления от истины естественнее рассматривать не как ошибки, а как тенденцию, причем скорее всего сознательную. Описывая обычаи германцев, которые особенно ясно сопоставлялись в глазах читателя с римскими, Тацит стремился дать контрастный материал, оттеняющий определенные стороны жизни римлян. Она в не меньшей мере, чем жизнь германцев, является предметом книги. «Германия» написана как контрапункт римской и германской тем, «мы» и «они», и написана ради него. Он образует ее содержание, ее суть и смысл.

Противоположность варварству есть культура. В той мере, в какой в «Германии» содержится всестороннее описание варварства, и описание это построено так, что за ним все время сквозит противоположное состояние, мы получаем возможность представить себе, как Тацит понимал культуру.

Если варварство наиболее полно и последовательно представлено германцами, то столь же полным и последовательным воплощением культуры является противостоящий им Рим. Он характеризуется по тем же двум главным направлениям, по которым строилось описание Германии: в основе культуры лежат развитая государственность и материальное изобилие.

В книге Тацита Германия и Рим выступают как враги, ведущие между собой ожесточенные войны. Войны эти длятся уже более двух столетий (гл. 37). Они давно перестали быть военным конфликтом, кампанией или даже рядом таковых. Перед нами вековое противоборство двух взаимоисключающих укладов жизни, где столкнулись Imperium (гл. 33), т. е. государственный организм, подчиненный опирающейся на военную силу центральной власти, и Germanorum libertas, «германская свобода» (гл. 37),— хаос местнических интересов и эгоистического своеволия. В этом конфликте римляне и используют прежде всего особенности германцев, вытекающие из отсутствия у них развитой государственности,— их неорганизованность (гл. 23), распри (гл. 33), слабости, связанные с отсутствием единства (гл. 21) и выдержки (гл. 23). И в «Германии», и в других сочинениях Тацит подчеркивает, что, живя войной и для войны, германцы так и не сумели выработать у себя дисциплину, привыкнуть к ответственности на поле боя, что отличает их от римлян и делает слабее последних.

Если так обстоит дело с государственностью как чертой культуры, то несравненно более сложными оказываются отношения между культурой и варварством, рассмотренные в плане противопоставления материального изобилия и нищеты.

Германское общество бедно, римское в противоположность ему отличается богатством. Все замечания о нищете и примитивности существования германцев по контрасту указывают на сложность и разнообразие жизни в империи, на насыщенность ее искусством, на обеспеченность комфортом. Этим, однако, дело не исчерпывается, и мы присутствуем здесь лишь при начале долгого и сложного движения мысли. Бедность германцев, как выясняется при сопоставлении их с соотечественниками Тацита, порождает не только отрицательно отличающую их от римлян дикость, но и нравственную чистоту, отличающую их от римлян положительно. Подарки, которыми при

вступлении в брак обмениваются у германцев жених и невеста, состоят лишь из скота и оружия. Но смысл этих простых и грубых даров в том, что они напоминают женщине не о символическом, а о совершенно реальном ее «призвании разделять труды и опасности мужа и в мирное время, и в битве, претерпевать то же и отваживаться на то же, что он» (гл. 18). Основанный на этих принципах брак создает прочную и здоровую семью, «и ни одна сторона их нравов не заслуживает такой похвалы, как эта» (там же). Женщина здесь не эмансипирована совершенно, ее чувствам и желаниям не придается никакого значения, и наказанием за измену является дикарский самосуд. Но зато, полагает Тацит, «у столь многолюдного народа прелюбодеяния крайне редки» (гл. 19), и женщины здесь «обретают мужа одного навеки, как одно у них тело и одна жизнь» (там же).

Та же двойственность германской бедности сказывается и в описании юношества. Дети здесь «растут голые и грязные», но «вырастают с таким телосложением и таким станом, которые приводят нас в изумление» (гл. 20). Задержанность развития избавляет их, на взгляд Тацита, от отроческих пороков и приводит к нормальному возмужанию. «Юноши поздно познают женщин, но от этого их мужская сила сохраняется нерастраченной; не торопятся они отдать замуж и девушек, и у них та же юная свежесть, похожий рост. И сочетаются они браком столь же крепкие и столь же здоровые, как их мужья, и сила родителей передается детям» (там же).

Все эти рассуждения содержатся в главах, где особенно много намеков на римскую действительность и прямых противопоставлений ей. Контекст не оставляет сомнений в том, что именно при рассмотрении в одной системе с богатой римской цивилизацией представление о германской нищете, поначалу казавшейся чем-то однородно убогим, становится неоднозначным. В сравнении с изощренностью римской жизни она приобретает значение здоровой простоты, не переставая от этого быть убогой примитивностью. Тацит ясно видит и существование обеих этих сторон, и их единство: приведенное выше утверждение о редкости прелюбодеяний у германцев является непосредственным продолжением фразы «тайна письма у них равно неведома и мужчинам, и женщинам»; логической связи между обоими суждениями нет никакой, так как единство их не в логике, а в восприятии самого принци-

па общественной примитивности как органически двойственного, в нераздельности в этой системе нравственной чистоты и духовной бедности.

Римский принцип культуры, понятой как развитие, богатство и сложность, обнаруживает при сравнении с противоположным началом подобную же двойственность. Все отношение Тацита к Германии и германцам не оставляет сомнений в том, что римская жизнь, порядки, государственность, цивилизация сохраняют для него значение нормы и ценности. Но подобно тому как примитивность оборачивается простотой, так и развитие неотделимо от извращенности. «Целомудрие германских женщин ограждается тем, что они живут, не зная порождаемых зрелищами соблазнов, не развращаемые обольщениями пиров» (гл. 19). Смысл этой фразы в том, что римлянки знали порождаемые зрелищами соблазны, были развращаемы обольщениями пиров и потому не обладали ни чистотой, ни скромностью. Присутствие женщин в амфитеатрах во время гладиаторских боев и атлетических состязаний считалось неприличным, но тем не менее издавна широко практиковалось. Август официально осудил это обыкновение; однако и он не решился запретить его полностью, а отвел женщинам особые места на самой верхней галерее. Свидетельства о присутствии матрон на пирах, даже самых буйных, в римской литературе весьма многочисленны. «Пороки в Германии ни для кого не смешны, и развращать и быть развращаемым не называется у них идти в ногу с веком» (там же). Осуждение римской аристократии, скрытое в этой фразе, будет примерно в тех же словах развернуто Тацитом в «Анналах». И сам же он несколькими годами позже проиллюстрирует римским материалом суждение, которое здесь, в «Германии», подается как часть характеристики германцев: «Мать сама выкармливает грудью рожденных ею детей, и их не отдают на попечение служанкам и кормилицам».

При сопоставлении варварства как общества нищеты с культурой как обществом изобилия отношения между обоими состояниями и сами эти состояния оказываются, таким образом, противоречивыми и запутанными. Германская скудость есть одновременно минус и плюс, зло и благо, а римское изобилие представляет собой «зеркально вывернутую» систему — те же категории, но с обратными знаками: благо и зло, плюс и минус.

Отсюда вытекает ряд вопросов, требующих ответа. Означает ли все сказанное, что и культура, и варварство представляют собой для Тацита величины, лишенные внутреннего единства, состоящие из разнородных элементов, одни из которых могут оцениваться положительно, а другие — отрицательно? Или нищета германцев, их нравственное здоровье, духовная примитивность и анархическая свобода производны от некоторой основы, которая и составляет суть варварства, точно так же как богатство, безнравственность и организованность римлян порождены тем, что носит название культуры? Если да, то в чем состоит этот принцип и эта основа, что, другими словами, составляет единство каждого из обоих состояний?

Ответом на эти вопросы является «Германия» в целом. В самом ее центре, однако, на границе равных по объему первой и второй частей, лежит небольшая глава, играющая особую роль и как бы «моделирующая» проблематику всей книги. Ответы на поставленные вопросы высказаны здесь наиболее сжато, образно и прямо. Чтобы понять их, перечитаем саму главу.

«Ростовщичество и извлечение из него выгоды им неизвестно, и это оберегает их от него надежнее, чем если бы оно воспрещалось. Земли для обработки они поочередно занимают всею общиной по числу земледельцев, а затем делят их между собою смотря по достоинству каждого; раздел полей облегчается обилием свободных пространств. И хотя они ежегодно сменяют пашню, у них всегда остается излишек полей. И они не прилагают усилий, чтобы умножить трудом плодородие почвы и возместить таким образом недостаток в земле, не сажают плодовых деревьев, не огораживают лугов, не поливают огороды. От земли они ждут только урожая хлебов. И по этой причине они делят год менее дробно, чем мы: ими различаются зима, и весна, и лето, и они имеют свои наименования, а вот название осени и ее плоды им неведомы» (гл. 26).

Первая фраза этой главы представляет собой столь типичное для «Германии» сообщение-намек: незнакомство с ростовщичеством ограждает германцев от него лучше, чем всякого рода запрещения; где с ним пытаются бороться с помощью запрещений, не сказано, но каждому читателю было ясно, что Германия сопоставляется здесь с Римом. Противопоставление это реализуется в обоих ос-

ловных планах, в которых строится книга: контраст денежного богатства и более или менее натурального уклада есть в то же время противоположность государственно-законодательного регулирования общественной жизни и изначальной естественности этой жизни. Установленное таким образом понятие естественной свободы в пределах той же фразы расширяется и переходит на другой качественный уровень. Свобода раскрывается здесь не столько как тип общественных отношений, сколько как некоторая общая характеристика германского мира и мироотношения — как пребывание вне разумно дифференцированной и организованной действительности, в монотонной и потому безразличной пространственной бесконечности. Между сообщениями о ростовщичестве и о принципах раздела земель, на первый взгляд разобщенными и отрывочными, обнаруживается связь — «германская свобода».

Эта свобода непосредственно проявляется в пассивности. Свобода германцев — это незнание вечной и мучительной борьбы с обстоятельствами, с данностью, за переустройство природы, за подчинение ее своей воле. Бедность, свобода и лень здесь сводятся к одному универсальному мироотношению — мироотношению тех, кто «не состязается с природой».

Отрицательная форма, в которую в соответствии с господствующим стилистическим приемом книги облечено это ключевое суждение, тут же уводит мысль читателя к противоположному принципу — к тем, кто «состязается с природой». Что же это значит — «состязаться с природой»? Как всегда в «Германии», на поверхности изложения располагаются вещи точные, конкретные и прозаические: «сажать плодовые деревья, огораживать луга, поливать сады и огороды». Их непосредственным значением, однако, дело не исчерпывается. Посадка и выращивание плодовых деревьев, требующие удобрений, тщательного ухода, знаний, и сами по себе указывают на многовековой, целенаправленный опыт и культуру. Эта мысль не была новой в римской литературе. Интенсивное сельское хозяйство, требующее целенаправленного умственного и физического напряжения и осмысленного труда, а потому представляющее собой конкретную форму очеловечивания природы, воспринималось и старыми римскими писателями, например Цицероном в его диалоге «О старости» (гл. 59), так же, как оно осмыслено здесь

Тацитом,— как противоположность варварству и тем самым как материализация принципа культуры.

У германцев «из земли выжимают урожаи одних лишь зерновых». Опять практические сведения по сельскому хозяйству предстают как форма, в которой заложена содержательная характеристика варварства в его контрасте с культурой. Главным с этой точки зрения является глагол imperare — «повелевать, приказывать, навязывать силой, требовать сверх сил», в подобном контексте почти неупотребительный. Римляне возделывают землю, германцы ее «насилуют»; культура предполагает деятельность, варварство и здесь означает либо пассивное приятие существующего, либо отношение к нему как к военной добыче; те, кто состязается с действительностью, стремятся выявить и использовать ее внутренние возможности; те, кто от этого состязания уклоняется, хотят только грабить.

Глава завершается сообщением о том, что германцы «не ведают ни имени осени, ни ее благ». Осень, ассоциирующаяся в художественном сознании нового времени с увяданием природы, дождем, холодом и одиночеством, воспринималась народами Средиземноморья, и римлянами в том числе, как высшая точка года. Здесь приходили к своему ежегодному завершению в их нераздельности и природный цикл зимы—весны—лета, и годовой труд, и состязание человека с природой. Именно поэтому осень была у римлян временем крестьянских народных праздников, поэтому их поэты славили «плодоносную осень», и в каждом римском доме жил лар, изображавшийся в виде отрока, изливавшего из чаши «сок осени» — молодое виноградное вино. Все это сливалось в единый образ благодатности мира, освоенного трудом и волей человека. В ткань этого образа были вплетены разные нити — труд и воля имели непосредственной целью обогащение, обогащение порождало ростовщичество, игра корыстных интересов приводила к регламентации и запретам, и все же только все это вместе и было образом культуры.

Германцы ничего этого не ведают. Не ведают энергии и не ведают личности, которая этой своей энергией взаимодействует с природным и общественным целым. Не ведают потому, что их мир — это растворение человека в невозделанной природе; нищета, но и свобода; воля и лень; потому, другими словами, что они варвары.

Тацит, таким образом, снова возвращался к теме «трудолюбия и деятельной энергии», которая образовывала основу его жизненной практики на протяжении 70—90-х годов и которая была для него одновременно темой римской virtus — «гражданской доблести». В этой теме с самого начала переплетались нормы реального общественного поведения и верность нравственному идеалу — ценностям римской гражданской общины. Как мы видели, жизненный опыт привел Тацита к убеждению в том, что virtus остается величайшей ценностью римского мира, но что из реальной действительности, его окружающей, она на глазах исчезает, что проблемы этики, другими словами, неотделимы от проблем общественной динамики, т. е. от истории, и находят себе разрешение в ней. Малые произведения, с которых началась его литературная деятельность, как бы отмечают отдельные этапы на пути формирования этого убеждения. В «Агриколе» трудолюбие и деятельная энергия еще не зависят прямо от истории — они доступны каждому, кто сумел уберечь себя от карьеризма и тщеславия, и делают всякого скромного, порядочного, преданного родине римлянина «великим мужем», воплощающим в новой форме старую римскую virtus; ценности гражданской общины представляются здесь еще человекосоразмерными, возродимыми и абсолютными. В «Германии» они теряют свою абсолютность, так как преобразующая природу целенаправленная и действенная энергия оказывается единым корнем римского мира — источником не только его доблестей, но и неотделимых от них его пороков. Благодаря этому virtus утрачивает и свой конкретно-этический, человечески воплотимый характер — ее приходится искать уже не в поведении граждан, в котором доблесть всегда опосредована пороком, а в общих свойствах римского мира, которые становятся очевидными лишь при сравнении его с миром варваров.

Virtus и родственные ей ценности древней гражданской общины приобретают тем самым не столько значение заповедей практического поведения, сколько нормы, колеблющейся на грани практики и идеала, придающей противоположностям действительности диалектический характер и остающейся непреложно живой, пока живы Рим, империя и римский мир. И до тех пор, пока сомнений в их жизнеспособности и силе у Тацита не возникало, обнаруженная им диалектика была для него источником надежды и веры в будущее родной истории.

Глава девятая

ДИАЛЕКТИКА ИСТОРИИ. «ДИАЛОГ ОБ ОРАТОРАХ»

Если «Жизнеописание Агриколы» закономерно возникло на определенном этапе развития римской биографии, а «Германия» продолжала традицию сочинений, сопоставлявших римлян с другими народами, то последнее из малых произведений Тацита также стоит в определенном ряду — в ряду крайне распространенных на протяжении всего I в. книг, рассуждений и речей об упадке красноречия и его причинах.

1. Упадок красноречия и принципат. Уже через несколько лет после установления диктатуры Цезаря Цицерон скорбел о том, что «форум римского народа... забыл изысканную речь, достойную слуха римлян» [1], а в конце правления Тиберия историк Веллей Патеркул задавался вопросом, почему расцвет словесного искусства в последний век Республики к его времени сменился полным упадком. Сохранившийся текст «Сатирикона» Петрония начинается с рассуждения на эту же тему: «Именно вы, риторы, не в обиду вам будь сказано, первыми загубили красноречие» [2], и в эти же годы корреспондент Сенеки прокуратор Луцилий интересовался, почему время от времени вообще и в их эпоху в частности «возникает род испорченного красноречия» [3]. Квинтилиан, обобщив и проанализировав накопленный в Риме опыт ораторского искусства, пришел к необходимости написать книгу «О причинах порчи красноречия» [4]. Диалог Тацита стоит в этом же ряду: «Ты часто спрашиваешь меня, Фабий Юст,— начинается это сочинение,— почему предшествующие столетия отличались таким обилием одаренных и знаменитых ораторов, а наш покинутый ими и лишенный славы красноречия век едва сохраняет самое слово «оратор»» (гл. 1). Книга и представляет собой ответ на этот вопрос.

Римляне были на редкость практически и трезво мыслившим народом, презиравшим отвлеченные словопрения. Если в течение полутора веков общественное мнение государства было обеспокоено упадком красноречия, а самые выдающиеся деятели культуры упорно размышляли о его причинах, дело, видимо, заключалось не только в литературе и стилистике. Речь шла о гораздо более глубоких и важных насущных проблемах общественной

жизни. В сочинениях перечисленных авторов указывается чаще всего одна из двух причин «порчи ораторского искусства». Первая носит непосредственно общественно-политический характер: красноречие — выражение и залог свободы; только в государстве, где важные решения обсуждаются публично, искусство доказывать и убеждать имеет смысл, живет и развивается; там, где такие решения принимаются принцепсом и выполнение их обеспечивается военной силой, оратору делать нечего и искусство его никнет; режим принципата именно поэтому означает конец красноречия. К этому сводилась основная мысль диалога Цицерона «Брут»; о страданиях, которые им приходится терпеть за свою верность свободе, разглагольствуют наставники ораторского искусства у Петрония. «Одна лишь свобода способна питать и лелеять великие умы,— говорилось в анонимном трактате «О возвышенном».— Мы же, современные люди, с детских лет воспитывались в правилах исправного раболепия и... по моему глубокому убеждению, способны сделаться всего лишь великолепными льстецами» [5].

В тех же сочинениях содержится, однако, и другое объяснение — на первый взгляд не связанное с политикой, а носящее скорее психологический характер. Оно развито особенно полно в трактате «О возвышенном». В основе словесного искусства лежит категория возвышенного. «Возвышенное — отзвук величия души», и «самым возвышенным следует признать уместный и благородный пафос» (с. 17). Его антиподом являются погружение в повседневный быт и в помыслы о благополучии, его источником — «возвышенная героика» (с. 20), «действие и борьба» (с. 21). Именно борьба, столкновение индивидуальностей и взглядов, состязание между ними и образуют психологический климат, в котором расцветает искусство слова: «Дух питается благородным соперничеством» [6]; «какова у людей жизнь, такова и речь» [7]. Причина упадка красноречия — в дегероизации человека и жизненной атмосферы, его окружающей.

Противоречие между этими двумя объяснениями, однако, было кажущимся или, во всяком случае, поверхностным. Переход от республики к принципату предполагал монополизацию государственных решений принцепсом и означал не только оттеснение от них римского сената, но и «деполитизацию» провинциальных рабовладельцев. Эти изменения реализовались в новой струк-

туре власти, в увеличении роли армии и бюрократии, в официальном осуждении республиканской политической практики, но не только в них. Преданность интересам государства и ответственность за его судьбы, инициатива и личная энергия в деле его защиты и укрепления, твердость в отстаивании своих взглядов были такой же частью республиканской традиции, как определенные формы власти и принципы государственного управления. Политическое содержание было неотделимо здесь от содержания человеческого, жизненного, общественно-нравственного, поведенческого; политика и нравственность объединялись нормативным представлением о свободной деятельной энергии, поставленной на службу государству, как о высшем благе. Поэтому теоретики словесного искусства, рассуждавшие о губительности единоличной власти для красноречия, и те, что скорбели об упадке ораторского дела в результате отчуждения общественной жизни и прозаизации типа человека, говорили в сущности об одном и том же. Философы и писатели I в. были правы, говоря о том, что кризис традиционного красноречия неуклонно углубляется, а авторитет оратора падает: высокая роль общественного красноречия и высокий авторитет оратора были порождениями республиканского строя и должны были исчезнуть вместе с ним.

Но городская республика с ее системой ценностей не была одной из равно возможных, произвольно избираемых общественных форм античности. Она представляла гражданскую общину, полис, без которого собственно античный мир был немыслим, и принципат, отменив городскую республику как политическую структуру, не мог устранить строй жизни, мыслей и чувств, основанный на признании гражданской энергии, воплощенной в действии и слове, идеалом и нормой. Этика общественной энергии, основанная на преданности государству, гражданской доблести, правовой свободе и защите их словом, как бы отделялась от республиканских порядков как таковых и признавалась органической чертой гражданской общины вообще, а потому и сохранявшей все свое значение при принципате I в., который и в самосознании, и объективно был с этой общиной так крепко связан.

Эта ситуация составляла главное содержание жизни Тацита и его творчества. На «трудолюбии и деятельной энергии» он построил свою сенатскую карьеру, а потом и идеальный образ современного сенатора. При сопостав-

лении с иным, варварским строем эта же ситуация раскрылась как источник не только силы, но и слабостей римского мира. Споры о былом красноречии и причинах его теперешнего упадка давали возможность подойти все к той же этике «трудолюбия и деятельной энергии» еще с одной точки зрения — с точки зрения сопоставления красноречия при Республике (и тем самым самой республики) и красноречия эпохи принципата (и тем самым самого принципата), т. е. с точки зрения исторического развития римского государства.

2. С того берега. Небольшая книга Тацита, завершающая цикл его малых произведений, оценивается иногда как «самое значительное сочинение по истории римской литературы, дошедшее до нас от древности»[8], иногда как «драгоценнейшая жемчужина латинской литературы»[9]. Можно принимать подобные оценки или отвергать их. Трудно, однако, не согласиться с тем, что перед нами шедевр художественно-философской диалектики, стоящий в одном ряду с «Федоном», «Племянником Рамо» или «С того берега».

В «Диалоге» передается разговор, посвященный состоянию ораторского искусства и причинам его упадка. Участники разговора, свидетелем которого, как сообщается на первой же странице, был и молодой Тацит,— крупнейшие ораторы описываемой эпохи — 70-х годов I в. Некоторые из них — Випстан Мессала, Юлий Секунд — известны по иным источникам и представляют собой реальных деятелей римской истории, другие — Куриаций Матерн, Марк Апр — почти или полностью не поддаются отождествлению с конкретными лицами. В центре диалога речи трех из них — Апра, Мессалы и Матерна. В каждой мы без труда узнаем одну из общественных позиций, описанных в главе 1 настоящей книги и характерных для флавианского времени.

Для Апра высшим видом духовной деятельности является судебное и политическое красноречие. Превосходство его явствует как из практических, так и теоретических соображений. С точки зрения «житейской полезности» красноречие предпочтительно потому, что приносит славу, деньги, влияние, удовлетворяет честолюбие и обеспечивает благосклонность принцепса (гл. 5—10). С более общей точки зрения в деятельности судебного оратора самое важное — связь его с живой жизнью сегодняшнего дня, непосредственное участие в конфликтах и спорах

современников (гл. 10). Эта особенность судебного оратора раскрывает перед ним всю ценность и значительность сегодняшней общественной практики и несущественность старомодной, покрытой пылью мертвой древности. «Признаюсь вам откровенно, что при чтении одних древних ораторов я едва подавляю смех, а при чтении других — сон» (кл. 21). За отрицательным отношением Апра к старому красноречию стоит целая эстетическая система: прекрасное для него — это преизбыток жизни — пышность, блеск, изобилие, расцвет, наслаждение (гл. 22). Ораторское искусство конца Республики плохо тем, что ему «не хватает дарования и сил» (гл. 21), что в нем мы «не ощущаем блеск и возвышенность современного красноречия» (там же), «овладевшего более красивой и изящной» манерой выражаться, не став от этого менее действенным и убедительным: «ведь не сочтешь же ты современные храмы менее прочными потому, что они возводятся не из беспорядочных глыб и кирпича грубой выделки, а сияют мрамором и горят золотом?» (гл. 20). Критерий красоты — сила, здоровье и напор жизни: «как и человеческое тело, прекрасна только та речь, в которой не выпирают жилы и не пересчитываются все кости, в которой равномерно текущая и здоровая кровь заполняет собой члены и приливает к мышцам» (гл. 21). Таков же и критерий человеческой ценности в целом: «Я хочу, чтобы человек был смел, полнокровен, бодр» (гл. 23).

Мы видели, что эта система взглядов была характерна для тех общественных сил, которые поднимались вместе с принципатом, воплощали его враждебность римско-сенатской традиции, эстетизировали исторический динамизм, имея своими главными идеологами так называемых «доносчиков» — всемогущих временщиков Нерона и Флавиев. Текст диалога не оставляет сомнения в том, что Апр есть обобщенный образ этих людей. Его красноречие отличалось «мощью и пылом» (гл. 24), подобно красноречию Эприя Марцелла; он отстаивает (гл. 19—20) тот тип судебных речей — стремительных, сжатых, идущих прямо к сути дела,— которыми славился Аквилий Регул, утверждавший, что речь должна сразу «хватать за горло»[10]. По мнению Апра, красноречие ценно тем, что внушает страх (гл. 5), о Регуле было сказано, что «люди его боятся, а страх обычно сильнее любви»[11]; на протяжении всего диалога Апр весел и нередко отпускает

шутки — такая шутливая веселость считалась отличительной чертою Вибия Криспа. На Марцелла и Криспа как на свои образцы Апр ссылается и сам (гл. 5, 8). Он происходит из одного из галльских племен (гл. 7) — как знаменитые доносчики времени Тиберия и Клавдия Юлий Африкан и Домиций Афр.

Главное, однако, состоит даже не в этих, хотя и показательных, реалиях. Главное, во-первых, в том, что Апр прокладывает себе путь в обход людей родовитых, сразу тем самым противопоставляя себя римско-сенатской традиции (гл. 8), и в том, во-вторых, что красноречие для него есть средство привлечь к себе расположение принцепса (гл. 8) и терроризировать знатных и богатых, впавших в немилость (гл. 6), что он солидаризируется с императорскими отпущенниками (гл. 8), вызывавшими наибольшую ненависть в римском обществе этой поры. Апр, другими словами, полностью повторяет тот путь от идеи прогресса к аморализму, внутреннюю логику которого мы проследили в главе 1, говоря о людях «сенатского меньшинства».

Столь же полно представлено в «Диалоге» и характерное для «сенатского большинства» понимание культуры как традиции. Этот взгляд защищает в своей речи Випстан Мессала. Он тоже начинает с экскурса в историю римского красноречия (гл. 25 слл.), на основании которого приходит к выводу о бесспорных преимуществах былого ораторского искусства перед современным, о глубоком кризисе последнего: «... из приведенных мною примеров стало яснее, через какие ступени прошло красноречие на пути к своему нынешнему упадку и вырождению» (гл. 26). Если аргументация Апра носила в основном эстетический и, так сказать, вкусовой характер — современное красноречие хорошо потому, что делает жизнь красивее, богаче, приятнее, то доводы Мессалы исходят из таких понятий, как нравственность, знание и гражданская ответственность. Современные речи плохи «непристойностью слов, легковесностью мыслей и произволом в построении» (гл. 26), они недостаточно «мужественны», а потому и рядятся в те элегантные одежды, которые вызывали восторг Апра. Для древних же ораторов характерны «бесконечный труд, повседневное размышление и непрерывные занятия всеми, какие только ни существуют, отраслями науки» (гл. 30). Оратор поэтому отличен от ритора нравственной природой своего искусства, в ко-

тором речь идет «о добре и зле, о честном и постыдном, о справедливом и несправедливом» (гл. 31).

Деградация красноречия, таким образом, не может не отражать деградацию общественной морали: «Кто же не знает, что и красноречие, и другие искусства пришли в упадок и растеряли былую славу не из-за оскудения в дарованиях, а вследствие... забвения древних нравов» (гл. 28). Вывод из предлагаемого Мессалой сравнения состоит в том, что для решения споров надо исходить не из понятия приятного, а из понятия ценности. Ценностью же является не ремесленная изощренность оратора, не искусство само по себе и удовольствия, им доставляемые, а общественная ответственность человека, преданного интересам государства (гл. 32). Такую ответственность ощущали люди республиканской поры, как, например, Брут (гл. 25). Именно тогда, в годы Республики, нравственность оратора, его искусство и нормы общественной жизни образовывали единство, утрата которого составляет главную характеристику флавианской эпохи.

Эти взгляды Мессалы рассматриваются в «Диалоге» как внутренне связанные с воззрениями третьего участника спора — Куриация Матерна. Последний обещает поддержать Мессалу и добавляет: «Что же касается Апра, то он обычно отстаивает взгляды, противоположные нашим» (гл. 16). Указания на такую расстановку сил в споре повторяются на протяжении книги несколько раз (24.1; 27.1), что на первый взгляд кажется странным, поскольку Мессала — защитник подлинного, высокого красноречия, тогда как Матерн, в прошлом преуспевавший политический и судебный оратор, ко времени, описываемому в книге, как раз разочаровался в этом искусстве и отстаивает превосходство поэтического творчества.

Поэтическое творчество представляется ему высшим видом деятельности, так как «для него нужно, чтобы дух удалился в первозданно чистые и ничем не поруганные края и, пребывая в этом святилище, наслаждался созерцанием окружающего; таковы истоки подлинного, вдохновенного словесного искусства, такова изначальная сущность его... В том счастливом, или, если сохранить принятое у нас наименование, золотом веке, бедном ораторами и преступлениями, изобиловали поэты и пророки, дабы было кому воспевать доблестные деяния, а не для того, чтобы защищать дурные поступки» (гл. 12). «Что завидного в жребии твоего Криспа или твоего Марцелла,

которых ты мне приводишь в пример? То, что они живут в постоянном страхе или нагоняют страх на других?.. Что, обреченные льстить, они никогда не кажутся властителям в достаточной степени рабами, а нам — достаточно независимыми» (гл. 13). «Так пусть же сладостные музы, как назвал их Вергилий, перенесут меня, удалившегося от треволнений и забот и необходимости ежедневно совершать что-нибудь вопреки желанию, в свои святилища, к своим родникам, и да не буду я больше, трепеща и покрываясь мертвенной бледностью в ожидании приговора молвы, испытывать на себе власть безумного и своекорыстного форума» (там же).

В каждом из этих отрывков, кроме мысли о необходимости удаления от суеты мира в чистоту поэтического творчества, содержится и еще нечто. В первом сказано, что есть изначальное, подлинное красноречие, назначение которого совпадает с назначением поэзии и состоит в прославлении прекрасного мира, связь же красноречия с судом над преступлениями есть явление позднейшее и ненормальное. Во втором — что современные ораторы погружены в чувство страха, внушаемого или испытываемого ими, что они связаны с императором и что оценка их Матерном и людьми его типа противоположна оценке их государем. В третьем — что желание уйти в царство муз порождено стремлением избавиться от этого страха.

Каждое из этих суждений в речи Матерна продолжено и развито. По своей природе красноречие не содержит ничего дурного, плох тот вид, который оно приняло теперь: «что касается своекорыстного и кровожадного красноречия, то оно вошло в употребление лишь недавно». «Своекорыстное и кровожадное красноречие» есть характеристика деятельности доносчиков, которые получали за возбуждавшееся ими обвинение крупное денежное вознаграждение, а затеянные ими процессы обычно заканчивались смертью осужденного. Матерн близок этим осужденным и говорит от их лица: доносчики Марцелл и Крисп для него разновидность вольноотпущенников, т. е. клевретов принцепса (гл. 13); он обещает выступать в сенате, «только если надо будет спасать кого-нибудь от опасности» (гл. 11), т. е. от обвинений тех же доносчиков; его раздражает необходимость «писать завещание, которое явилось бы залогом безопасности для наследников», т. е. отказывать часть своего состояния императору, как поступали благонамеренные сенаторы. Матерн —

человек с четкой общественно-политической позицией, противник флавианского режима. Его стремление к уходу в уединенные размышления и творчество раскрывается как форма отрицания существующего, подобно прославлению старины у Мессалы.

Позиция его характеризовалась не только отрицательно — неприятием окружающей действительности, но и положительно. Содержание ее состояло в борьбе против временщиков Нерона (гл. 11), в прославлении Катона (гл. 2—3), которого восхвалял в «Диалоге» Мессала, а в жизни — Тразея Пет, вождь стоической оппозиции в сенате в 60-х годах, в драматическом рассказе о последних республиканцах (гл. 3), которых демонстративно чтили те же оппозиционеры-стоики. Матерна роднит со стоиками не только его явная оппозиционность, не только содержание и направление его произведений, но также стремление уклониться от общественных обязанностей, фигурировавшее среди обвинений, предъявлявшихся людям стоической оппозиции, упорство, с которым он пишет одну оппозиционную трагедию за другой, хотя это и угрожает ему смертельной опасностью (гл. 3), несговорчивость, упоминаемая в источниках как черта многих стоиков I в.

Матерн так же полно и точно воплощает римский оппозиционный стоицизм I в. н. э., как Апр — мировоззрение сенатского меньшинства, а Мессала — взгляды «ревнителей старины». Полнота и точность, с которой в «Диалоге об ораторах» перечислены и характеризованы культурно-исторические типы времени, создают впечатление завершенности — и этого времени, и этих типов. Перед нами полнота ретроспекции, а не живая неправильность борющихся противоречий действительности. Такая установка входила в замысел Тацита. «Это мое сочинение», писал он в начале «Диалога» (гл. 1), «требует не таланта, а памяти, памяти ума и сердца». Ретроспективный характер книги явствует и из ее содержания, и из времени ее создания. В тексте указывается, что описанный разговор происходит в шестой год правления Веспасиана, т. е. в 74—75 гг. н. э., написан же «Диалог», скорее всего, в первые годы II в. Высказывалось обоснованное мнение о том, что это небольшое сочинение возникло в ходе работы Тацита над «Историей» — примерно в 105—107 гг. он должен был подойти к рассказу о правлении Веспасиана и живо воссоздать в памяти людей и атмосферу 70-х годов, что и нашло отражение в «Диалоге».

Множество косвенных данных подтверждает этот взгляд. В книге ясно ощущается, что она написана «с того берега», из Антониновой поры, когда грозы и битвы флавианской эры уже отшумели. Куриаций Матерн говорит о своей оппозиционности с откровенностью, в условиях Домицианова правления совершенно невозможной. Свободно и прямо упоминается Эприй Марцелл; Квинтилиан в своей книге, появившейся в середине 90-х годов, ни разу не называет его — такой ужас внушал этот человек даже через 20 лет после смерти, даже официально осужденный принцепсом и сенатом. Аквилий Регул в той мере, в какой он включен в образ Апра, изображается не без лирической симпатии, с которой о нем как раз в 106 г. вспоминал друг Тацита Плиний [12]. Главное же состоит в том, что это — книга о красноречии, что все персонажи — ораторы, что красноречие рассматривается здесь как основная и определяющая форма духовной деятельности и культуры, тогда как и эта роль красноречия, и острота его проблем, и ораторы такого типа кончились вместе с флавианством.

Оживление красноречия в 80—90-е годы было связано с обострением политической борьбы принцепса с сенатом и в этом смысле продолжало традиции римского общественного красноречия. Конец доносительства и террора был концом гражданской проблематики «искусства искусств» древнего Рима. Красноречие флавианского времени было связано с остаточно сохранявшимся политическим характером культуры. Плиний вспоминает об общественной роли и влиянии, которыми в его молодости, т. е. при Домициане, «пользовалось прекраснейшее дело оратора», и противопоставляет этому положению то, что окружает его уже в 100 г.— «мелкие, ничтожные тяжбы», декламация и риторика, лишенные государственного и нравственного смысла [13]. Особенность домицианова времени состояла в том, что добродетели гражданской общины еще сохраняли для многих престиж и смысл, и в борьбе с республиканскими пережитками принцепсу приходилось резать по живому. Поэтому в доносах, интригах и расправах жила еще — пусть уродливая и нечистая — политическая страсть, которая ощущалась в особом — пусть извращенном и кризисном — красноречии этой поры. Установление власти Антонинов, как мы уже знаем, знаменовало конец этапа; вместе с террором ушли политические страсти, а с ними былое значение красноречия;

кончился не тот или иной стиль ораторского искусства, кончилась эра красноречия как средоточия мысли и культуры. Тацит рассказывал о былом, в самой теме его книжки и в ее названии было что-то от «воспоминаний ума и сердца».

Как же написан его рассказ? Кажется, в первый и бесспорно в последний раз в его жизни — легко и весело. Нам трудно представить себе автора «Анналов» забавным и веселым. Между тем, по крайней мере в первые годы II в., то был светский, занимательный и остроумный человек. Он жил в это время открытым домом, где толпились поклонники его таланта, легко заговаривал в театрах и цирках с незнакомыми людьми, развлекался охотой и сочинением стихов. Он умел уловить комичность лица или ситуации и подчеркнуть ее, пряча улыбку за беспристрастностью серьезного рассказчика. Его mots были убийственны и, должно быть, ходили по всему Риму. В последних (из дошедших до нас) книгах «Истории» и тем более в «Анналах» этот юмор почти неощутим, он целиком тонет в страсти, возмущении и гневе; в «Диалоге» он окрашивает все повествование. Оно строится как пародия на судебный процесс, с адвокатами, ответчиками и истцами, пересыпано шутками, возражения высказываются с улыбкой, его заключительная фраза: «Все рассмеялись, и мы разошлись».

Откуда это появилось и что это значит?

Два основных начала, взаимодействие которых образует древнеримскую культуру, принимали в ее истории разные формы — культуры как традиции или как обновления, нравственно-эстетического комплекса boni или audaces, сенатской идеологии с ее культом римской старины и идеологии принципата, направленной на подчинение чисто римских форм жизни новым, греко-провинциальным. Цицерон и Вергилий, Август и Веспасиан стремились свести оба полюса к некоторому единству, но из таких попыток никогда ничего не получалось, пока каждый из этих принципов был воплощен в определенных общественно-политических силах, реально противостоявших одна другой. По причинам, разобранным выше, в эпоху Антонинов их реальное противостояние кончилось, во всяком случае в своем прежнем смысле, и Тациту едва ли не первому стало ясно, что обе так долго противостоявшие друг другу традиции объективно образовывали единство.

После тех речей, в которых участники диалога выявили различия своих позиций, Тацит помещает еще одну речь, посвященную тому, что «для великого красноречия, как и для пламени, нужно то, что его питает» (гл. 36), в Риме же его питали страсть, динамизм и энергия, неотделимые от своекорыстия, честолюбия, стремления к власти и успеху [14]. Мысль об аморальности личной своекорыстной энергии и о неполноценности культуры, на ней основанной, нам уже известна, Тацит развивал ее в «Германии», но здесь она делает новый поворот. Аморально не красноречие само по себе и даже не вкусы и нравы, делающие его популярным и влиятельным. И то и другое производно от состояния общества, где личное отношение граждан к государству ведет к борьбе мнений, спорам и распрям. Тацит увидел теперь в свободе не только универсальный принцип, присущий разным общественным структурам, но прежде всего двойственную историческую характеристику определенного этапа римской истории и определенного типа римской культуры. Само красноречие, сама система культуры, центральным элементом которой оно является, общество, эту культуру породившее, принадлежат этапу свободы и в ней черпают и свое величие, и свое осуждение. «Мы беседуем не о чем-то спокойном и мирном, чему по душе честность и скромность; великое и яркое красноречие — дитя своеволия, которое неразумные называют свободой; оно неизменно сопутствует мятежам, подстрекает предающийся буйству народ, вольнолюбиво, лишено твердых устоев, необузданно, безрассудно, самоуверенно; в благоустроенных государствах оно вообще не рождается... Да и в нашем государстве, пока оно металось из стороны в сторону, пока не покончило со всевозможными кликами и раздорами, и междоусобицами, пока на форуме не было мира, в сенате — согласия, в судьях — умеренности, пока не было почтительности к вышестоящим, чувства меры у магистратов, расцвело могучее красноречие, несомненно превосходившее современное» (гл. 40).

Перед нами определенный исторический тип общества, в котором плюсы и минусы неотделимы друг от друга и сбалансированы. Величие и яркость ораторского слова, через которое выражают себя время и его культура, существуют лишь потому, что общество необузданно, лишено направляющего разума, легкомысленно верит словам, ждет их и слушается каждой удачной речи. Этот период

со своими достоинствами и пороками кончился и сменился другим. Теперь нет «могучего красноречия», как нет «клик и раздоров», зато есть «мир на форуме» и «согласие в сенате». Возникло общество с другой культурой и другим красноречием, а следовательно, со своими плюсами и минусами, нашедшее полное и завершенное воплощение в Антониновом принципате. Люди живут в «упорядоченном, спокойном и процветающем государстве» (гл. 36), но оно потому таково, что все решает принцепс, и отстаивание своих общественных взглядов либо чревато опасностями, которые подстерегают Матерна, либо выглядит старомодной глупостью, какой оно представляется Апру. Поэтому хорошо, что нет старого красноречия, и плохо, что его нет. Спор между Апром, Матерном и Мессалой и соответственно между культурой как обновляющей жизнь энергией и культурой как традицией или внутренней духовностью решался не аргументами и не логикой. Его решение давала история, в свете которой выявлялась и расчлененность римской культуры на периоды, и двойственность каждого из ее этапов, и внутреннее их единство. Тацит-историк, и диалектика его исторического мышления рождается именно здесь.

Три общественные позиции и три типа культуры, представленные в «Диалоге», воплощены в определенных людях. Люди эти между собой друзья. Беседа начинается с того, что Апр и Секунд приходят навестить Матерна. Это сразу же доказывает их близость, так как они пришли поддержать поэта, на которого его произведения только что навлекли серьезные неприятности. Матерн их принимает не в атрии, как официальных посетителей, а в одной из внутренних, выходящих на перистиль, комнат дома, где протекала жизнь семьи. Они называют друг друга «мой» и «наш», что примерно соответствовало у римлян нашему «дорогой» (гл. 14, 27), обращаются друг к другу с улыбками (гл. 11), обнимаются при прощании (гл. 42), весь разговор носит дружеский, непринужденный характер.

С точки зрения реальных отношений и условий описанной в книге эпохи все это невероятно. Апр, как мы помним,— «доносчик», Мессала — ревнитель старины, Матерн — ненавистник современности, поэт, близкий к стоикам. За каждым из них стоят реальные прототипы, живые люди, чьи отношения были менее всего похожи на дружбу. «Доносчик» Коссуциан не дружил с ревни-

телем старины Тразеей Петом, а был его заклятым врагом и не беседовал с ним по теоретическим вопросам, а добивался (и добился) в сенате его осуждения на смерть. «Доносчик» Марцелл обменивался со стоиком и разоблачителем придворной клики Гельвидием не соображениями о развитии риторики, а «яростными упреками» [15]. Близкий к стоикам поэт Персий не делился своими творческими планами с защитниками императорских прокураторов и отпущенников; когда он умер, его архив пришлось скрывать от «доносчиков» во избежание неминуемой конфискации. Друзья недовольных, вроде младшего Плиния, не пускали к себе в дом Аквилия Регула, а в случае необходимости общались с ним через посредников, встречались только в общественных местах и называли его не «дорогим», а «негодяем» и «пройдохой» [16]. Критика современного красноречия была не предметом дружеского спора, а поводом для обвинения и расследования, как недовольство окружающей действительностью и стремление уйти от нее в частную жизнь — поводом для осуждения на смерть.

И в то же время изображенные Тацитом отношения не просто выдумка или ложь. Основные социально-психологические типы, общественные позиции и концепции культуры эпохи раннего принципата, представленные в «Диалоге», были порождены единой исторической ситуацией — все углубляющимся, но не законченным процессом превращения Рима-города в Рим — мировую державу при сохранении системы ценностей, ориентированной на полис. Поэтому различные взгляды на жизнь, общество и культуру были связаны рядом переходов и росли из единой основы до тех пор, пока с Антонинами Рим не стал и в идеологическом отношении подлинно мировым государством, не оторвался окончательно от полисных представлений и не перешел в иную культурно-историческую эру. Создавая «Диалог об ораторах» в первые годы Антонинов, Тацит, с одной стороны, ясно помнил время, когда отразившиеся в его книге противоречия были четкими и непримиримыми, с другой — не мог не ощущать, что этой непримиримостью положение не исчерпывалось, что в ретроспекции становилась очевидной объективная сближенность полюсов, равно принадлежащих целостной, законченной исторической системе. Оттого-то он и стремился воссоздать здесь прошлое не как ряд событий, а как духовную среду, как тип людей и отношений, словом, как

определенную культурную атмосферу, и потому же он ощутил это прошлое как область постоянного взаимодействия того, что было, с тем, что могло быть, факта с вымыслом или по крайней мере с домыслом. Предмет его изображения раскрывался как действительность особого типа — еще реальная и в то же время уже художественно организованная.

Иллюстрацией к сказанному может служить хотя бы время описанного в книге разговора. Оно точно указано и вполне реально — шестой год правления Веспасиана (гл. 17), т. е. между 1 июля 74 г. и 1 июля 75 г. н. э. Но тут же выясняется, что это, пожалуй, и не совсем так, ибо разговор происходит через сто двадцать лет после смерти Цицерона, т. е. позже 7 декабря 76 г. Этот разговор, безусловно, был, так как Тацит при нем присутствовал (гл. 1), но, может быть, все-таки и не был, раз два главных действующих его лица, с одной стороны,— «знаменитейшие в ту пору таланты нашего форума» (гл. 2), а с другой — не упоминаются ни в одном из многочисленнейших источников по флавианской эпохе и, таким образом, почти определенно относятся к лицам вымышленным. Тацит запомнил происходивший разговор совершенно точно и обещает пересказать его с сохранением даже всех риторических фигур (гл. 1), но почему-то не может вспомнить, сколько томов речей древних ораторов было к этому времени опубликовано (гл. 37), хотя факт этот был, так сказать, профессионально важен для каждого из участников беседы и для самого Тацита.

Точно так же и весь диалог представляет собой одновременно рассказ о реальных столкновениях действительно противоположных точек зрения, выражавших враждующие общественные силы, и ретроспективную утопию. В речи Апра прорываются кровожадные намеки, указывающие на то, что в своем поведении он мало чем отличался от Суиллия Руфа или Меттия Кара. Он говорит о своем низком происхождении и своем презрении к знати почти теми же словами, какими временщики Клавдия добивались в сенате репрессий против аристократии. Мессала противопоставляет себя Апру и Секунду с презрением, действительно звучавшим в обращениях исконных знатных римлян к провинциальным выскочкам (гл. 28). Собеседники говорят «взволновано и как бы по вдохновению» (гл. 14), «решительно и смело» (гл. 15), с «горячностью, страстью и пылом» (гл. 24), и это естественно,

потому что каждый из них выражает одну из магистральных линий в развитии Рима и его культуры, за каждым стоят люди, книги, эпоха. И в то же время весь диалог представляет собой шуточную инсценировку судебного разбирательства (гл. 4, 5, 16, 42). Люди умерли, книги прошли, эпоха кончилась, и в защите их возникает элемент некоторой стилизации, а воссоздание несуществующих больше споров превращается в веселую эстетическую игру. «Споры такого рода дают пищу уму и доставляют приятнейшее, насыщенное ученостью и литературой, развлечение, и не только вам, спорящим об этих предметах, но и всякому, кто вас слушает» (гл. 14). Воспоминание о культуре прошлого, ее исторический, философско-нравственный, эстетический анализ, само повествование о ней приобретают характер свободной художественной деятельности и таким образом становятся уже фактом новой культуры, принадлежащей будущему.

Какие же выводы следовали из всего того, что Тацит понял и выразил в «Диалоге об ораторах»? Во-первых, что решения пережитых проблем надо было искать в пережитой истории: не в этике — наставлениях о том, как надлежит вести себя образцовому сенатору и полководцу, и не в общей теории культуры — утешительном в конечном счете противопоставлении Рима как единого целого варварству, а в истории — каким было то, что было и чего нет, почему оно было таким и стало иным, что это значит? «Диалог об ораторах» образует не только развернутый эпизод «Истории», но и логический переход от «Агриколы» и «Германии» к первому большому историческому сочинению Тацита.

Второй вывод состоял в том, что теперь писать историю флавианства *можно*; «с того берега» Тацит понял, в чем суть пережитой эпохи и нашел метод постижения прошлого, соответствовавший его жизненному и общественному опыту; он мог теперь писать «серьезно и достойно», не рискуя примкнуть «ни к хулителям, ни к льстецам». Третий вывод гласил, что историю писать не только можно, но и *нужно*. Тот факт, что «Диалог» создавался одновременно с «Историей», очень важен для понимания как обоих этих произведений, так и творческой эволюции Тацита в целом. В «Диалоге» противоречия доантониновой эры выступили в их относительности и завершенности; их диалектика была поэтому нестрашной и даже веселой, сродни художественной игре — именно о такой диалекти-

ке Энгельс однажды сказал, что «у нее есть и консервативная сторона: каждая данная ступень развития познания и общественных отношений оправдывается ею для своего времени и своих условий» [17]. В «Истории» в целом преобладала другая сторона Тацитовой диалектики — острое ощущение живой еще нормы римского исторического развития, римской virtus, и поругания ее в деятельности и идеологии как Флавиев, так и их противников. Анализируя «Историю», мы убедились в том, что эта норма сохраняла для Тацита все значение и обаяние общественного идеала — колебавшегося, как всякий идеал, на границе действительности и веры, но который тем более нужно было показывать и вспоминать: «Я считаю главнейшей обязанностью летописи сохранить память о проявлениях доблести и противопоставить бесчестным словам и делам устрашение позором в потомстве» [18].

Наконец, последний вывод состоял в том, что писать историю величия и унижения римской virtus было не только можно и нужно, но еще и *стоило*. Стоило потому, что — и до тех пор, пока — деятельная ответственность гражданина перед своим государством была не просто воспоминанием и не просто иллюзией старого историка, а именно общественным идеалом, живым в сознании многих, «нерушимая верность» [19] ему оставалась хоть и не политической, а духовной, но все равно живой и актуальной общественной позицией. В этой атмосфере и в этом убеждении Тацит и создал «Историю», ставшую его самым совершенным и прекрасным произведением, где трагизм и энергия жизни звучат единой мелодией. И эта атмосфера, и это убеждение изменились в годы работы над «Анналами» — последним сочинением историка.

Глава десятая

«АННАЛЫ»

В XI книге своего последнего сочинения Тацит ссылается на «Историю», завершенную им в конце первого десятилетия II в.,— «Анналы», следовательно, создавались во втором десятилетии и, может быть, позже. Произведение это сохранилось неполностью. До нас дошли I—IV и XII—XV книги целиком, V, VI, XI и XVI с пропусками или в отрывках, VII—X неизвестны совсем. «Анналы»

охватывают период с 14 по 69 г., и сохранившиеся книги рассказывают о правлении трех принцепсов династии Юлиев—Клавдиев: первые шесть — о царствовании Тиберия, почему и называются часто «тибериевыми»; XI, XII — о времени Клавдия («клавдиевы»); последние четыре — о правлении Нерона («нероновы»).

1. Летопись эпохи Юлиев — Клавдиев. Слово «анналы» происходит от annus — «год» и означает погодные записи событий, летопись. Хотя Тацит такого названия своему сочинению не давал, оно с легкой руки первых издателей закрепилось за его историческим трудом, закрепилось потому, что действительно есть в этой повести при всей ее субъективности, нервности, напряженном драматизме многое от летописи. Перелистаем ее страницы. «В том же году переполненный постоянными дождями Тибр затопил долины Рима, а когда вода спала, обрушилось много зданий, и много погибло людей» (I, 76, 1); «Беспорядки в театре, начавшиеся в прошлом году, в это время стали еще хуже, так что были убиты некоторые из народа, а также центурион и солдаты, и был ранен трибун преторианской когорты» (там же, 77, 1); «В том же году племя херусков испросило царя из Рима, так как их знать была истреблена во время междоусобных войн» (XI, 16, 1); «Немного спустя племена диких киликиян, прозывающихся клитами, часто возмущавшиеся и в другие времена, теперь под предводительством Троксобора заняли лагерем крутые горы и, делая оттуда набеги на берега или города, причиняли насилие земледельцам и горожанам. Но царь этой страны Антиох лаской снискал расположение простых клитов, а их вождя обманул, внес таким образом рознь в войско варваров и, умертвив Троксобора и нескольких главарей, смирил остальных милостью» (XII, 55).

Важную роль в этой погодной повести о больших и малых делах в Риме и империи играют всякого рода отступления. Посвященные то местной мифологии, то географии и истории отдельного города или народа, то просто необычным явлениям природы, они, с одной стороны, придают рассказу занимательность, вводя в него любопытные подробности, чудеса и диковины, а с другой — создают ощущение единого еще в своем разнообразии мира, где все связано и все всем друг в друге любопытно. Поскольку римляне хорошо знают бронзовую статую быка у Бычьего рынка, то Тацит сообщит им, что именно отсюда

Ромул начал борозду, обозначившую границу города, и скажет о том, где проходила эта граница, ибо, добавит он, «я считаю, что об этом нелишне знать» (XII, 24, 1). В связи с реформой алфавита в 49 г. он расскажет со всякими подробностями о том, как египтяне изобрели письмо, как от них переняли это искусство финикияне, а потом греки и этруски занесли его в Рим, а в связи с очередным военным столкновением с парфянами — о распространенном у них культе Геркулеса, о том, как бог является во сне их жрецам и велит приготовить на ночь оседланных коней с колчанами, полными стрел, как эти кони сами уходят в горы, а возвращаются взмыленные и с пустыми колчанами, по окрестным лесам же люди находят множество трупов животных, убитых богом во время своей ночной охоты.

Такой стиль повествования сообщает «Анналам» характер старинной городской хроники, хроники жизни, общей для автора и читателей, всем им памятной, всем равно интересной, близкой и важной: «Небесполезно всмотреться в эти незначительные на первый взгляд события, из которых нередко возникают важные изменения в государстве» (IV, 32, 3).

Непосредственное содержание книги широко известно; на ней и до сих пор основано большинство наших сведений о Римской империи. В «Анналах» рассказано о войнах, которые вел Рим на Западе и Востоке, в частности о самых крупных из них — о зарейнской кампании Германика Цезаря в 15—16 гг. с ее драматическими перипетиями, отчаянными сражениями в непролазных чащобах Германии, гибелью флота, освобождением захваченных в плен старых товарищей и т. д.; об армянских походах Корбулона в 54—62 гг., в которых проявились и великолепные боевые качества римских солдат, и талант полководцев; много места занимают рассказы о провинциальных восстаниях — мы знакомились с ними в главе «Тацит и провинции»; через всю книгу проходят скупые сообщения об императорских реформах, суть которых нам тоже известна (см. гл. 1).

Главная сюжетная линия «Анналов», однако, связана с императорским террором. В первой же книге Тацит подробно рассказывает о возрождении при Тиберии старинного закона «об оскорблении величия римского народа», которому было придано новое содержание: по этому закону теперь стало рассматриваться как преступление лю-

бое выражение непочтительности по отношению к императору. Тацит показывает, как вначале по таким обвинениям привлекались малозначительные люди и как сам Тиберий бывал раздражен несерьезным, искусственным характером выдвигаемых обвинений. Постепенно положение менялось. Появились лица, которым возбуждение такого рода дел представляло возможность блеснуть ораторским талантом, обратить на себя внимание, разбогатеть. Обвиняемым приписывались нападки на Цезаря все более оскорбительного свойства, и метили авторы доносов во все более видных членов сената и императорской семьи, могущества которых принцепс порой и в самом деле мог опасаться. Между принцепсом и доносчиками возникал своего рода союз, число процессов росло, и к концу «тибериевых» книг они становятся для Тацита важнейшей темой: в VI книге интервал между описаниями дел по «оскорблению величия» никогда не превышает семи глав, т. е. 2—3 страниц. После всего сказанного об этих процессах в предыдущих главах социально-политический их смысл и место в исторической эволюции римского принципата должны быть вполне очевидными. Нас интересует сейчас не эта сторона дела, а характер их изображения в «Анналах».

Прежде всего обращает на себя внимание несоответствие между объективными данными об этих процессах, приводимыми самим же Тацитом, и тем впечатлением, которое они производят на него и которое он стремится передать читателю. Классической эпохой процессов об «оскорблении величия» является правление Тиберия. Всего за 23 года этого принципата Тацит упоминает 104 человека, привлекавшихся к судебной ответственности. 18 из них не имели отношения к оскорблению величия, 86 обвинялись по этому закону, из них были оправданы 19, в 12 случаях дело было прекращено, в 4 обвинительный приговор вынесен, но отменен или смягчен. Остается 51, среди которых определенно казнены были 18. В 33 случаях Тацит не уточняет исход процесса, что заставляет, скорее всего, предположить относительно спокойное его окончание, ибо все смерти, трагедии и ужасы он подчеркивает и подробно описывает при каждой возможности. Если учесть, что годы Тиберия были периодом становления нового строя, что старая сенатская аристократия еще сохраняла свое могущество и отнюдь не всегда и не во всем хотела содействовать делу принцепсов, что это был период глу-

хой политической борьбы и острой социальной ломки, в этих цифрах трудно увидеть следы особой жестокости властей, массовый террор и царство крови.

Между тем Тацит воспринимает и изображает эти годы именно подобным образом. Факты не излагаются в их полноте, достоверности и логической связи, а группируются и описываются так, что в густых светотенях тонут их реальные контуры, и полувысказанные намеки заставляют предполагать нечто еще более страшное и гнетущее. Перечитаем, например, главы 17—22 IV книги. Тиберий в очень умеренной форме высказал свое недовольство жрецам-понтификам за то, что они назначили молебствия во здравие его внучатных племянников Нерона и Друза одновременно с молебствием в его честь,— он никогда не любил их отца Германика и чувствовал себя уязвленным тем, что юношей прославляют вместе с ним, стариком. В этой главе больше ничего не сказано, кроме того, что неприязнь к дому Германика в императоре разжигал временщик Сеян. Но когда непосредственно вслед за этим сообщается, что Сеян возбудил в сенате дело против полководцев Гая Силия и Тития Сабина—в прошлом, замечает Тацит мимоходом, дружных с Германиком,—и обстоятельствам этого суда уделяется три полных главы, после которых следует рассказ еще о трех сенатских процессах — Кальпурния Пизона, историка Кремуция Корда и Плавтия Сильвана,— у читателя возникает ощущение, что идут кровавые гонения на видных сенаторов, а через них — на народного героя Германика. Между тем стоит вчитаться в текст, и становится ясно, что объективных оснований для такого впечатления явно недостаточно: против сыновей Германика и понтификов, почтивших их своим постановлением, не было предпринято решительно ничего; Титий Сабин, названный вместе с Силием, в результате чего создавалось впечатление группового процесса, в дальнейшем вообще не упоминается — никакого дела против него возбуждено не было; Силий действительно преследовался по закону об оскорблении величия и «упредил неизбежный смертный приговор самоубийством», но главным обвинением против него было вымогательство, обоснованность которого признает и Тацит; два следующих из перечисленных здесь дел не имели никакого отношения ни к предыдущим, ни к семье Германика, а последнее вообще носило уголовный характер.

Главным в описании императорских репрессий в сенате становится при таком характере изложения не разбор конкретных фактов, принадлежащих своему времени и месту, а их общий исторический смысл, эмоциональный колорит, воздействие на психику читателя. Нет никаких оснований, как это часто делалось и делается, считать, будто Тацит отделяет общее впечатление от реальных данных вполне сознательно, в клеветнических целях, будто он просто подтасовывает факты, дабы очернить ненавистных ему принцепсов: мы убедились, что Тацит никогда не был противником принципата и принцепсов; что морально низменные мотивы всегда были чужды его творчеству; что отношение к излагаемым фактам «без гнева и пристрастия» — для него не риторическая уловка, а основа исторического поведения и мышления. Задача состоит не в том, чтобы гадать, кого и зачем Тацит пытался обмануть, рассказывая о принципате Юлиев—Клавдиев, а в том, чтобы понять, почему главным в нем историку представилась тянущаяся через всю эпоху, ширящаяся и крепнущая на фоне ее повседневного, все более мирного существования тема «непрестанной погибели» (VI, 29, 1).

Рассказ Тацита о сенатских процессах своим построением, намеками, стилем неизменно обращает мысль читателя к будущему и показывает, как будет дальше складываться положение, откуда возьмутся позднейшие беды, вплоть до пережитых автором и его современниками. Иногда это ощущение рождается почти неприметно, из одного слова, на которое и не сразу обратишь внимание: «Первым злодеянием нового принципата (Тиберия.— *Г. К.*) было убийство Агриппы Постума» (I, 6, 1); «Первой при новом принципате (Нерона.— *Г. К.*) была смерть Юния Силана» (XIII, 1, 1). Слово «первая» подготавливает читателя к тому, что в дальнейшем их будет много. «О Плавте на время забыли» (XIII, 22, 3); «Расправу с Сабином на время отложили» (IV, 19, 1), т. е., читая дальше, мы будем постоянно помнить, что расправа с Сабином или Плавтом еще впереди. Когда читатель, закрыв книгу, задумывался над прочитанным в целом, ему становилось совершенно ясно, что сообщения о процессах отражают определенную линию развития. «Анналы» начинаются с Тиберия и кончаются Нероном, так что сравнение обоих принципатов напрашивалось само собой. Две эти точки определяли описанный процесс однозначно. Пс

контрасту с эпохой Тиберия прогрессирующий аморализм власти при Нероне виден во всем: в вульгарной ссоре матери императора Агриппины с отпущенником Нарциссом, в том, как Сенека и Бурр потакают порокам юного принцепса, в наглости отпущенников. Вырастающий из этой атмосферы образ Нерона в корне отличается от образа Тиберия — злодея, но уж никак не шута и жулика. Контраст начальных стадий прослеживаемого автором развития с дальнейшими его стадиями постепенно формулируется все определеннее: «Тогда еще сохранялись следы умиравшей свободы» (I, 74, 5); «...доблести знатных, которые в ту пору еще существовали» (XIII, 18, 2).

В процессах об оскорблении величия выражается это общее движение: «Я не поленюсь рассказать о том, как это тягчайшее зло возникло, с каким искусством Тиберий дал ему неприметно пустить ростки, как затем оно было подавлено, чтобы позже вспыхнуть снова и охватить решительно все» (I, 73, 1). Оно так важно не потому, что Тацит возлагал большие надежды на сенатскую аристократию и скорбел о ней; о ее пассивности, алчности, сервилизме, трусости он говорит в «Анналах» многократно, а в других произведениях и еще чаще. Тема эта так важна и так мучительна для Тацита потому, что в распространении доносительства, в моральной деградации власти и ее жертв, в распаде былой родовой и общинной солидарности для него концентрируется и обретает человеческую конкретность весь процесс распада гражданской общины как духовного и ценностного организма.

Отличие «Анналов» от других книг историка состоит в том, что здесь этот процесс прослежен в своих исходных и общих формах, воспринят как суть и основа всего принципата, несовместимость которого с гражданской доблестью — древней римской virtus, с исконно римской системой норм и ценностей, со всем общинным началом римской жизни признается, таким образом, изначальной и коренной. Реальными протагонистами этого исторического процесса теперь признаются принцепсы, перечисленные поименно от Августа до Нерона, представленные каждый в пластической неповторимости, а главным в их правлении — уничтожение той свободной деятельной и нравственной энергии отдельного лица, которая с юности была для Тацита высшей нормой поведения и залогом человеческого содержания принципата, возможности достойной службы ему. Современный исследователь «Анналов»

писал об этом так: «Все ресурсы своего могучего повествовательного стиля Тацит мобилизует не для того, чтобы просто поведать читателю об исторических событиях, а чтобы выразить, в чем, по его убеждению, состоит их сущность. В его истолковании смысл событий между 14 и 69 гг. может быть кратко обозначен как торжество зла в результате подавления свободы» [1].

Как соотносится эта тема «Анналов» с летописным характером книги? Между тем и другим существует очевидное противоречие. Летописный, хроникальный характер изложения, столь отчетливо выраженный в «Анналах» и отличающий их от других сочинений Тацита, указывает на то, что и в авторе, и в читателе, к которому он обращался, жило еще ощущение относительно устойчивого и относительно единого мира, неторопливо и многообразно развивающегося из своих исходных начал, империи, которая не противоречит общине, корням античного бытия. «Гражданская община и народ Рима настолько сыты славой, что желают жить спокойно и чужеземным народам» (XII, 11, 3). Проходящая же через все «Анналы» и усиливающаяся к их концу тема императорского террора воспринимается и Тацитом, и под его влиянием читателем прежде всего как тема распада и уничтожения именно полисных основ существования, всего векового, собственно античио-римского, Цицероном и Вергилием воспетого строя жизни. Это противоречие между идеализованной патриархальной атмосферой городской общины и разрушающей ее силой мировой империи отражало, как мы знаем, объективную динамику эпохи, росло и обострялось на всем ее протяжении и достигло предельной остроты ко времени Траяна и особенно Адриана. В «Анналах», в отличие от более ранних произведений Тацита, оно впервые предстало в своей полноте и трагической неразрешимости. Та форма и тот смысл, которые это историческое противоречие приняло к 110-м годам, обусловили и хронологию создания последней книги Тацита, и творческую ее историю, и ее судьбу.

2. **Датировка «Анналов» и эпоха Адриана.** До сих пор, говоря о времени Тацита, о его жизни и произведениях, мы строили свой рассказ на положениях и выводах современной исторической и филологической науки, отвлекаясь от того, как эти положения и выводы были добыты. Мы использовали их как доказательства, но их самих предполагали доказанными. Откажемся на

прощание от такого подхода и углубимся в то, что прежде называли кухней науки, а ныне вежливо именуют «творческой лабораторией». Это интересно и поучительно само по себе, и без такого придирчивого и подробного доказательства доказательств нельзя справиться с запутанной и в высшей степени специальной проблемой, к которой подвел нас ход наших рассуждений,— датировкой «Анналов».

Из вопросов, связанных с творческой историей книги, проще других вопрос о том, была ли она завершена автором.

В настоящее время накопилось много данных, говорящих о том, что «Анналы» остались недописанными. Сохранившиеся книги «Истории» и первые книги «Анналов» показывают, с какой предельной тщательностью отделывал Тацит свои сочинения. Допустить поэтому, что в полностью завершенном произведении остались неувязки и недоработанные детали, невозможно. Между тем в заключительных книгах «Анналов» их немало. Прежде всего эти книги короче предыдущих: в XII — 69 параграфов, в XIII — 57, в XIV — 65, тогда как среднее число параграфов в полностью сохранившихся книгах первой части — 80, в «Истории» — 91. Концы книг занимают в сочинениях Тацита особое место. Для них он оставляет наиболее ему важные размышления, описание событий либо значительных самих по себе, либо имеющих символический или пророческий смысл, самые эффектные картины и сентенции. Последние книги «Анналов» — единственные во всем корпусе исторических сочинений нашего автора, где этот принцип нарушается. В XIII книге повествование явно оборвано: после описания опустошительного пожара в земле убиев Тацит без перехода начинает рассказ о чудесном знамении на римском Форуме, посвящает ему одну фразу и на ней прекращает изложение. XIV книга кончается, казалось бы, обычным образом — фразой, призванной подготовить читателя к главному для Тацита событию последних лет Нерона, составляющему центр следующей, XV книги,— заговору Пизона. Но лежащее в основе этой фразы сообщение основано на странной фактической неувязке: обвинение Сенеки в сообщничестве с Пизоном выдвигается против него за три года до возникновения заговора.

Некоторые параграфы XVI и особенно XV книг написаны настолько конспективно, что трудно избавиться от

впечатления, будто перед нами скорее план, заметки на память, чем завершенный текст. Так, в главе 71 XV книги на протяжении полустраницы перечислено 22 имени лиц, подвергшихся репрессиям после разгрома заговора Пизона. Большинство из них никак не введено и не аннотировано, хотя в 12 случаях — это имена, встречающиеся только в данном месте и читателю неизвестные. С такой же предварительно, на память сделанной и впоследствии не исправленной записью связано первое упоминание префекта претория при Нероне Офония Тигеллина (XIV, 48) и знаменитого доносчика Вибия Криспа (XIV, 28, 2) — оба этих персонажа, столь важные для сюжета и смысла «Анналов», появляются в книге неожиданно, не представленные, без упоминания об их положении и роли, в случае Тигеллина даже без первого имени; обычно Тацит вводил таких людей совсем по-другому. В последних книгах «Анналов» сохранились неубранные автором неточности. О землетрясении в Кампании сообщается под 62 г., хотя оно было в 63; о большом пожаре в Лугдунуме — в самом конце 65 г., хотя он был или в начале его, или, скорее всего, во второй половине 64 г. Все чаще повторяемый исследователями вывод о том, что «Анналы» — произведение незавершенное, приходится, по-видимому, признать справедливым.

Менее справедливо то заключение, которое обычно делается на этом основании: если «Анналы» остались незаконченными, значит, работа над ними прекратилась в момент смерти Тацита: «Тацит, как Вергилий, умер, не успев придать своему произведению окончательный вид» [2]. Есть много данных, говорящих о том, что незавершенность «Анналов» не есть результат внезапного прекращения работы, катастрофы, связанной со смертью, прервавшей энергично продвигавшийся вперед труд, а представляет собой следствие длительного и постепенного отхода от проблем, в этом труде поставленных, и от решений, в нем предложенных.

В начале «Анналов» (III, 24, 3) высказано намерение автора по завершении этого труда написать сочинение об эпохе Августа; физическое состояние историка не было, очевидно, ничем омрачено и позволяло строить самые далеко идущие планы. В последних книгах есть ряд мест (речи Нерона и Сенеки в связи с просьбой последнего об отъезде из Рима, весь процесс Тразеи, гибель Агриппины и др.), написанных с энергией и силой, ко-

торые не всегда обнаруживаются и в более ранних произведениях, причем эпизоды такого рода встречаются вплоть до самого конца сохранившегося текста. В то же время известное ослабление напряженности повествования и отход от былой тщательности в обработке текста нарастают исподволь, начиная уже с XI—XII книг. Это видно и в общей «нормализации» языка, характерной для XIII—XVI книг, но по контрасту с I—VI книгами ясно ощущаемой уже в рассказе о Клавдии, и по увеличению числа нейтрально-безразличных сообщений о тех или иных поступках без обычного для ранних книг стремления указать их отрицательные, неблаговидные мотивы, вызывавшие прежде у Тацита яростное осуждение, и из самого чередования отмеченных выше недоработанных мест с местами, выписанными с прежней силой. Все это указывает на то, что работа над «Анналами» была не внезапно оборвана, а постепенно оставлена. Выяснение причин этого станет возможно лишь после того, как будут установлены время и порядок публикации отдельных частей этого сочинения.

Основания для датировки отдельных частей его дают две особенности «Анналов» — упоминания о Парфии и отличие стиля «нероновых» книг от стиля предшествующих. Парфия выступает в «Анналах» в двух обликах — как могучее государство, находящееся с Римом в отношениях союза или соперничества равных, и как царство, ослабленное внутренними распрями, принимающее правителей из рук римлян и едва способное выносить борьбу с ними. Образ Парфии, слабой и зависимой от Рима, возникает в «Анналах» обычно там, где речь идет о прошлом; говоря о своем времени, Тацит неоднократно характеризует Парфию как могучего и равного соперника Рима: «...находясь между могущественными державами парфян и римлян» (II, 3, 1); «...подати, взимаемые ныне с этих народов силой парфян или могуществом римлян» (II, 60, 4). Суждения такого рода встречаются только во II книге «Анналов» и, как указывает слово «ныне», отражают ситуацию, существовавшую во время ее написания; позже, по-видимому, для них уже не было оснований. Эти основания исчезли в 114—117 гг., когда римляне нанесли парфянам ряд тяжелых поражений, захватили их столицу Ктесифон и знаменитый литого золота трон Аршакидов; Траян выбил медаль с легендой «Парфия покорена», и общее мнение сходилось на том, что Парфия как великая

держава существовать перестала. Фразы вроде приведенных выше стали невозможны именно с этого времени. Поскольку «тибериевы» книги «Анналов» (I—VI) совершенно отчетливо представляют собой единое, полностью законченное и внутренне однородное целое, есть все основания считать, что это целое создавалось тогда, когда еще имелись причины для оценки Парфии, содержащейся во II книге, следовательно, до побед Траяна над парфянами, т. е. до 114 г.

«Нероновские» (XIII—XVI) книги «Анналов» составляют особую часть последнего сочинения Тацита, существенно отличную от предыдущих. Отличие это начинается со стиля. Яркость и необычность языка Тацита в начале «Анналов» во многом связана с сочетанием редких или устарелых выражений со словами и оборотами «протороманского» типа, т. е. отражавших эволюцию повседневной речи. В «нероновских» книгах это характерное сочетание распадается, рассказ постепенно освобождается не только от модернизмов, но и от архаизмов, язык нормализуется и «усредняется». Стилистические особенности последних книг «Анналов» обнаруживают связь со своеобразным изменением к концу сочинения также и авторской позиции — изменением, которое удалось выявить совсем недавно в результате специального статистического исследования [3]. Сообщая о том или ином поступке действующих лиц своих сочинений, Тацит обычно указывает его мотивировку: «...Решив, что дважды консул Валерий Азиатик был когда-то любовником Поппеи, Мессалина подговаривает Суиллия выступить обвинителем их обоих. Ее толкало на этот шаг, помимо всего прочего, желание завладеть садами, которые некогда были созданы Лукуллом» (XI, 1, 1). Всего по сочинениям Тацита отрицательно мотивируемые поступки составляют 51,7%, положительно мотивируемые — 25,3%, сообщаемые без ясной оценки — 23,0%. В «тибериевых» книгах отрицательные мотивировки, т. е. разоблачающие и осуждающие поступки персонажей, достигают максимума — 70%, мотивировки нейтральные — минимума (14%). В «нероновых» книгах положение прямо противоположное: соответственно 47 и 31,5%. Последние книги «Анналов», таким образом, отличаются от предыдущих снижением не только энергии и своеобразия стиля — изменение стиля отражает ослабление энергии и определенности в отношении автора к своему материалу.

Есть основания считать, что эти изменения наступили после некоторого и довольно значительного перерыва в работе и что «нероновские» книги не были для Тацита непосредственным продолжением ранее начатого труда. Так, в предшествующих им разделах он избегал называть по именам историков, чьи сочинения он использовал, и ограничивался общими указаниями вроде: «в трудах историков», «согласно большинству историков» и т. п. Такое оформление ссылок повторяется в «тибериевых» и «клавдиевых» книгах столь систематически, что его нельзя квалифицировать иначе, как сознательный прием. В начале XIII книги (20, 2) выдвигается новый принцип цитирования, что уже само по себе естественнее делать, приступая к работе, чем завершая ее. Тацит сообщает здесь о своем решении впредь называть историков поименно. Он действительно следует объявленному намерению, придавая и в этом отношении заключительной части сочинения самостоятельный облик. Там же, в начале XIII книги, пособница преступлений императоров Локуста представляется читателям так, будто она вводится впервые: «осужденная как отравительница и прославленная многими преступлениями женщина по имени Локуста»; Тацит, по-видимому, успел забыть, что в XII, 66, 2 он уже представлял ее, сказав и об ее аресте, и о предшествующих злодеяниях. Расстояние по тексту между обоими упоминаниями настолько незначительно, что, допустив последовательную и непрерывную работу над сочинением, объяснить его невозможно. Такое повторение могло возникнуть, только если между завершением XII книги и возвращением к труду был длительный перерыв. Ощущается какая-то лакуна того же характера также между XII, 5 и XIII, 34, где речь идет о положении в Армении.

С чем был этот перерыв связан и на какое время он приходится? Предположение о чисто личных его причинах психологического, бытового или творческого порядка, которое могло бы быть убедительным для писателя нового времени, приходится исключить, если речь идет о древнеримском историке-сенаторе: его жизнь и деятельность регулировалась событиями общественно-политическими, а не интимно-личными. Важнейшими из таких событий после 114/115 г. (когда, как мы видели, была завершена первая «гексада», т. е. группа из шести книг, рассказывавших о правлении Тиберия), явились смерть Траяна и воцарение Адриана в августе 117 г. Современ-

ники очень скоро поняли, что присутствуют при политических изменениях, суливших самые глубокие и далеко идущие исторические последствия.

Тацит должен был чувствовать это острее других, так как происходившие перемены касались того, что всегда волновало его особенно сильно: принципа перехода верховной власти после смерти очередного государя к наиболее достойному из сенаторов, победоносных войн как моральной основы римской державы, законосообразности принципата и отказа от террористических эксцессов, признания «римской традиции» высшей общественной и моральной ценностью. Во всех этих областях Адриан вел себя, как нарочно, так, чтобы разбить все надежды и упования Тацита и людей его типа и круга. Он стал принцепсом в обход закона и сената, не исключено, что и против воли самого Траяна, в результате тайных интриг в императорской семье и свите. Он сразу же отказался от завоеваний Траяна в Азии, подумывал об отказе от результатов дакийских походов — последней крупной завоевательной кампании в римской истории — и окончательно положил предел военной экспансии римской державы. Приход его к власти был ознаменован убийством четырех выдающихся деятелей предшествующего царствования, что сразу осложнило его отношения с сенатом и заставляло вспоминать о временах Тиберия, Нерона или Домициана. Наконец, безудержное и демонстративное эллинофильство Адриана знаменовало полный отход от ромоцентристской политики первых Юлиев—Клавдиев и Флавиев.

В результате этих перемен, наступивших стремительно и неожиданно, взгляды, которые Тацит излагал в своих сочинениях, оказались в противоречии с обнаружившимися тенденциями дальнейшего развития государства. Вполне естественно, что это потребовало раздумий, пересмотра многих положений и приостановило написание «Анналов». Перерыв в работе, объясняющий отличия и особенности «нероновских» книг, естественнее всего отнести, таким образом, к 117—118 гг. и признать, что последние, недоработанные части «Анналов» создавались после этого перерыва, т. е. при Адриане.

Что касается «клавдиевых» книг, то данных для сколько-нибудь обоснованной их датировки нет. Стиль их обладает чертами как характерными для первой гексады, так и присущими рассказу о правлении Нерона. Другие критерии или не обнаруживаются, или допускают подоб-

ную же двойственность истолкования. Книги XI, XII, другими словами, могли быть написаны и до 114, и после 118 г.

В последние два десятилетия сложился взгляд, завоевывающий все больше сторонников, согласно которому «Анналы», будучи написаны частью при Адриане, представляют собой также и документ политической борьбы Адрианова времени. Тацит, по этой теории, стремился свести счеты с современностью в своем историческом труде, где в скрытой форме содержится критика новых властителей и отстаивается иная политическая линия на будущее. Незавершенность «Анналов» объясняется при этом так, что зрелище интриг и жестокостей, сопровождавших вступление Адриана на престол, создали у историка полное впечатление, будто возвратились времена Тиберия и Нерона, и он умер от отвращения и отчаяния, оставив свою последнюю книгу недописанной. Метод исследования, позволяющий обосновать эту концепцию, сводится обычно к следующему. В тексте «Анналов» обнаруживается факт, сходный с каким-либо фактом Адрианова правления или резко контрастирующий с ним; это рассматривается как выражение сознательного намерения автора установить аналогию (или контраст) с окружающей его действительностью; такое намерение истолковывается как доказательство личного отрицательного отношения историка к Адриану и его политике.

Весьма показательно, например, как трактуют сторонники этой теории эпизод с приемниками Августа. В рассказе Тацита о сенаторах, которых Август рассматривал как своих возможных преемников (I, 13, 2—3), при большом желании можно ощутить некоторую обособленность от основной линии повествования, что могло бы указывать на позднейшее включение этого эпизода в уже готовый текст. Поскольку возможных преемников Августа названо четверо и они умерли при Тиберии насильственной смертью, смысл такого добавления состоял в установлении аналогии с четырьмя консуляриями казненными в 117—118 гг. и, следовательно, в признании Адриана таким же коварным тираном, как и Тиберий. Но о главном из возможных преемников Августа — Луции Аррунции — Тацит неизменно говорит с уважением и симпатией, следовательно, сходные чувства должны были вызывать у него и консулярии Траяна. Симпатия же предполагает (или может предполагать) солидарность, а значит, гнев и

репрессии Адриана должны были обрушиться не только на самих обвиненных, но и на историка, который на основе изложенного признается связанным с ними и их заговором.

Этот метод и выводы, на нем основанные, вызывали возражения. Недостатки его очевидны — невнимание к фактам, противоречащим концепции, наполадки с хронологией, произвольность в отборе и толковании тех мест, в которых усматриваются намеки, неопределенность и недоказательность самих этих намеков, игнорирование литературного контекста. Не в этих недостатках, однако, главное. Главное в том, что речь идет о последних книгах последнего исторического труда Тацита, т. е. о завершении, о подведении итогов долгого и сложного пути, и никакое истолкование «Анналов» не может быть убедительным, если оно не вытекает из содержания и внутренней логики этого развития.

Представим его себе еще раз. С самого начала своей деятельности Тацит утверждал в качестве высшей ценности гражданскую доблесть, virtus — противоречивое единство свободно себя выражающей энергии личности и интересов Рима как города-государства. События 80—90-х годов и отразившееся в них неуклонное движение Рима от гражданской общины к космополитической столице космополитической империи показали, что в плане практического поведения подобное единство стало невозможным. Продолжая честно и успешно служить как магистрат, Тацит все больше реализует теперь свой талант, энергию и любовь к Риму в литературной деятельности, к которой обращается в самые последние годы I в. Обращение к литературному творчеству означало, что проблема Рима и virtus переносилась для него отныне в другую плоскость. «Неуверенным и неокрепшим голосом» [4] повел он рассказ о «гражданской доблести» как о критерии истории, не воплощенной в практической деятельности того или иного принцепса, той или иной сенатской группировки, но от этого не менее реальной, хотя и другой реальностью — духовной, исторической, нравственной, — о том Риме, в политике и повседневности которого virtus распалась на мертвеющую исконно римскую консервативную традицию, с одной стороны, на хищную энергию и исторический динамизм «наглецов» — с другой. Тацит понял невозможность сблизить навсегда разошедшиеся полюса и не пытался никого толкнуть к подобным попыткам. Он

просто рассказывал, что происходит с государством, когда из него уходит virtus.

Однако рассказ предполагает слушателя. Создавать книгу за книгой можно было, только чувствуя, что virtus и Рим — живая проблема, что независимо от ее практической неразрешимости она занимает и волнует людей, образует центр духовной жизни поколений. Тацит обратился к литературному творчеству, так как верил, что в мысли и слове virtus обретает большую реальность, чем в приказах полководцев и в сенатских прениях, так как решил, что его рассказ о событиях I в., о Риме, где распадается «гражданская доблесть», сделает ее навсегда живой и сохранит на века. В ту пору он еще не знал, что читатель, книга и сама их связь не меньше, чем рассказанные в книге события, принадлежат истории и в этом смысле — определенному времени, т. е. определенной системе отношений, взглядов, вкусов, людей, мыслей, и что этой системе тоже суждено рано или поздно стать прошлым.

3. Почему «Анналы» остались неокончены? Вернемся к вопросу о связи между эпизодом, где Тацит рассказывал о сенаторах, которых Август намечал себе в наследники, и судьбой казненных Адрианом консуляриев. Если такая связь в принципе не исключена, то каков все-таки ее смысл и что могло заставить Тацита ее устанавливать? Из сенаторов, им названных, один — Гней Пизон — был сыном известного врага Юлия Цезаря, сподвижника Брута и Кассия, Гнея Кальпурния Пизона, согласившегося в 23 г. до н. э. по настоянию Августа стать консулом, дабы символизировать союз нового режима со старой римской аристократией. Когда Август тяжело заболел и думал, что умирает, он доверил свой архив именно ему. Это положение сохранил и сын Кальпурния. Он 45 лет честно служил императорам, был советником Тиберия, но главным в его облике и деятельности оставалась верность старинным нравам римской знати. Скупостью, жестокостью, упрямством он больше всего напоминает обоих Катонов. «Унаследовав от отца дух строптивости,— характеризует его Тацит,— он был человеком неукротимого нрава, неспособным повиноваться». Другим человеком, но в пределах того же социально-исторического типа, был и считавшийся наиболее достойным из возможных приемников Августа Марк Лепид. Тоже выходец из древнего патрицианского рода, он пользовался большим влиянием на Тиберия, но старался

поставить на службу цезарям не столько исконные недостатки старой аристократии, сколько ее новоприобретенные добродетели — «умеренность и мудрость»[5]. Именно в Лепиде видел Тацит то сочетание верности принцепсу как воплощению государства и независимости от него как личности, которая так долго была для него идеалом поведения. Как бы ни отличались от обоих названных «наследников Августа» два других — Луций Аррунций и особенно Азиний Галл, все четверо были связаны для Тацита с одной темой — с судьбой и ценностью коренной римской традиции в условиях принципата.

«Заговор консуляриев» против Адриана представляется в источниках и в исследовательской литературе как союз Авидия Нигрина, ближайшего сподвижника и советника нового императора, с полководцами, заинтересованными в продолжении воинственной политики Траяна и потому враждебными Адриану, положившему ей конец. Авидий происходил из семьи, выдвинувшейся только при Флавиях (его отец и дядя были первыми консуляриями в роде) и тесно связанной с Адрианом в ту пору, когда тот еще не был принцепсом. Само консульство Авидия в 110 г. с последующим ответственным назначением наместником Дакии было признаком возраставшего влияния Адриана и его людей — консулом следующего, 111 г., стал двоюродный брат Авидия Квиет. Есть основания думать, что в сближении Адриана с семьей Авидиев немалую роль сыграло их общее эллинофильство — дядя Авидия Нигрина Тит Авидий Квиет входил в стоическое окружение Тразеи; вместе со своим братом (отцом казненного консулярия) он был покровителем и слушателем Плутарха; и оба брата, и их сыновья — все были наместниками греческой провинции Ахайи, все проявляли необычную осведомленность в греческих делах и интерес к ним. Именно в годы создания «Анналов» у Тацита нарастает раздраженно-враждебное отношение к такому эллинофильству, в торжестве которого он справедливо усматривал гибель старой римской системы ценностей. Если Авидий сопоставлялся с Пизоном, Лепидом или Аррунцием, то только по контрасту.

В еще более резком контрасте ко всему миру римской традиции находились связанные с Авидием полководцы, и самый яркий среди них — Лузий Квиет. Вождь одного из диких племен внутренней Ливии, может быть, чернокожий, он появился во главе отряда своих конников в

армии Домициана в конце 80-х или начале 90-х годов и занял какое-то странно-неопределенное, римской табели о рангах несвойственное положение. Воевал он рьяно и успешно, но Флавии были еще слишком римлянами, постоянно оглядывались на традиции и прошлое, и Лузий вскоре из армии исчезает — время, когда ливийский царек мог встать во главе легионов, еще не настало. Оно пришло с дакийскими походами Траяна. Лузий отличается в борьбе с Децебалом, в 116 г. он становится сенатором, в 117 г.— консулом и во главе самостоятельной группы войск с чудовищной жестокостью подавляет восстание в месопотамской диаспоре. Показательно, что, несмотря на блестящую карьеру, официальное положение его до конца остается неопределенным. Во время парфянского похода Траяна он командует крупным самостоятельным воинским подразделением, включавшим как союзную конницу, так и пехоту (т. е. легионеров), не являясь, однако, легатом легиона, и тем не менее попадает в сенат в ранге претория (т. е. как бы уже пройдя легионное командование). И сенатором, и консулом он становится вопреки всем обычаям, только и прямо за военные заслуги — ситуация, которая станет типичной в III—IV вв., но для начала II в. была неслыханной. После консулата или, может быть, даже одновременно с ним Лузий назначается наместником Иудеи и вводит в эту провинцию свои войска, хотя ее статусом это категорически запрещалось.

Отвращение, которое такой человек мог вызывать у Тацита, очевидно. Все параллели со временем Юлиев— Клавдиев и даже Флавиев говорили не о сходстве, а о полном разрыве эпох. С наибольшей, ошеломляющей ясностью, однако, проявился этот разрыв времен во взаимоотношениях греческого и римского начал в жизни и культуре империи.

Империя, объединившая в едином государственном механизме римский Запад и эллинистический Восток, с самого начала несла в себе возможность такого развития, при котором оттеснение от власти римской олигархии вело к усилению греческого элемента в жизни и культуре общества и эллинистически-монархического элемента в поведении и положении принцепсов. На протяжении полутора столетий империя оставалась римской, доминанта культурной жизни находилась в области римской традиции, и попытки переделать империю на эллинистиче-

ский лад ясно обозначались лишь дважды — при Антонии и при Нероне. Связь монархических (и в этом смысле для консервативного римлянина всегда кощунственных и преступных) тенденций в развитии принципата с политическими традициями эллинистического мира была теоретически очевидна всегда. В жизненной практике, однако, на протяжении всего I в. греко-восточное влияние сказывалось больше в быте, искусстве, привычках, художественных вкусах, в темах разговоров, и постепенное нарастание его долгое время не вызывало серьезных опасений ни у кого, в том числе и у Тацита. Агрикола усвоил в Массилии «греческую обходительность», в «Диалоге об ораторах» влияние греческого литературного вкуса ощущается на каждой странице, и даже еще в начале «Анналов» эллинофильские привычки Германика Цезаря не вызывают у автора ни тени осуждения.

В конце правления Траяна и в последующие годы роль и положение греков в римских правящих кругах начали резко меняться. Правда, греки-отпущенники, ведшие практические дела римских патронов, продолжали занимать свое прежнее положение. Зато греки-идеологи из странных чудаков, преследуемых «наставников добродетели», неоднократно высылавшихся из Италии, близких к оппозиционным сенаторам, подчас нищих и гордившихся своей нищетой, с начала II в. все чаще превращаются в римских всадников, сенаторов и магистратов, в богачей, оказывающих прямое влияние на политику государства. Софист Исей Ассирийский, вызывавший своими риторическими импровизациями восхищение римских сенаторов в последние годы I в., был еще школьным учителем — его ученик Дионисий Милетский стал при Адриане римским всадником и магистратом. Дион Хрисостом в 70-е и 90-е годы подвергался в Риме гонениям, был выслан, вел жизнь бродячего нищего проповедника, а уже в самом начале II в. выступал перед Траяном со своей программой принципата; официальные должности он занимал только в своем родном городе Прусе в Вифинии; ученик же Диона Фаворин в качестве доверенного лица и советника сопровождал императора Адриана в его путешествиях по Востоку. В 20-е годы софист Полемон вернулся после длительной отлучки в родную Смирну и обнаружил, что его дом занят римским наместником. Он настоял на выселении римского магистрата, и тот подчинился. Занимательность ситуации усугублялась тем, что

этим наместником был Аврелий Фульв, будущий император Антонин Пий. Греческий софист Герод Аттик, чье богатство вошло в пословицу, был в 140-е годы римским консулом, и притом ординарным. Ординарными консулами на 142 г. стали Куспий Пактумерий Руфин из Пергама и Стаций Квадрат, афинянин.

Подобные перемены стали возможны в результате политики цезарей, в частности Адриана, и на основании примера, который он подавал. Оказывая постоянную поддержку греческим городам, Адриан особое внимание уделял своим любимым Афинам. Рядом с древними «Тезеевыми» Афинами возник новый город — «Афины Адриана» [6]; он завершил заложенный еще Писистратом Олимпейон и начал строительство нового водопровода. Вся эта деятельность имела не только архитектурно-художественный, но и политический смысл. Из греческих городов был образован Общеэллинский союз, и хотя он носил больше парадный и символический, чем деловой, характер, он подчеркивал роль Греции как единого целого в жизни и культуре империи.

На духовное равноправие греков и римлян указывал и созданный Адрианом Атеней — нечто вроде академии, готовившей кадры высшей администрации. В Атенее было два отделения, латинское и греческое, причем преподаватели-греки считались такими же государственными служащими, как римляне, и получали то же жалованье, что они. Вообще роль греков и выходцев из восточных — грекоязычных — провинций в высшей администрации и в сенате росла на глазах. Сенат Августа и Тиберия был в основном римским, сенат Флавиев — римско-италийским, сенат Адриана стал италийско-греко-восточным. Создавался политический климат, при котором принцепс и в собственных глазах, и для империи в целом превращался из римского магистрата в эллинистического царя-бога. Адриан не просто гордился своим званием архонта Афин. Среди города возвышался построенный им Панэлленион — храм Зевсу всегреческому и самому Адриану. В связи с освящением Олимпейона императору было присвоено звание Олимпийского и даже Зевса Олимпийского. Безудержное увлечение Грецией неуклонно вело к монархизму восточного толка, монархия всегда была для римлянина синонимом тирании, и Адриан, казалось, повторял самых ненавистных Тациту тиранов прошлого.

Эллинофобия Тацита в «Анналах» выражена сильнее,

чем в более ранних произведениях, и на протяжении книги она явно растет. В «тибериевых» книгах греки появляются всегда для того, чтобы принести с собой атмосферу никому не нужной смешноватой учености и музейной старины; римскому обществу, и особенно его правителям, эта атмосфера совершенно чужда. Положение начинает меняться при Клавдии и в начале правления Нерона. Оба они по всякому поводу торопятся проявить начитанность в греческих авторах, подчеркнуть свою принадлежность к греческой культурной традиции.

Постепенно подобные демонстрации учености приобретали для Тацита особый смысл. Увлечение греческими легендами уводит человека от римской действительности, от обязанностей и ответственности: Клавдий занимался историей греческого алфавита, «оставаясь в полном неведении своих семейных дел» [7], в те самые дни, когда Мессалина устраивала свой грозивший государственным переворотом брак с Гаем Силием; под аккомпанемент речей Нерона о Трое Агриппина готовила отравление Клавдия и передачу власти своему сыну. Эта тема нарастает в рассказе о правлении Нерона. Греческие увлечения и привычки связаны с той стороной его жизни, которая превращает его из римского принцепса в развлекающегося повесу, почти шута. Переход от начального, положительно оцениваемого Тацитом периода его правления к небрежению государственными делами, к заносчивости и жестокости начинается с любви принцепса к греческой отпущеннице Акте. Следующий шаг на этом пути — увлечение игрой на кифаре, оправдываемое тем, что кифаредам покровительствовал Аполлон. Для первых своих публичных выступлений на театральных подмостках Нерон, «не решившись начать сразу с Рима, избрал Неаполь, представлявшийся ему как бы греческим городом» [8].

Постепенно из формы отвлечения от государственных дел и интересов эти греческие привычки становятся формой оскорбления римских традиций: в 61 г. при освящении отстроенного им гимнасия император «с греческой непринужденностью роздал оливковое масло всадникам и сенату» [9].

В последних книгах «Анналов» эллинистическая стихия — это проникшая в высшие слои общества чужеродная сила, отражающая разложение этих слоев и составляющая растущую угрозу общественным формам, ей про-

тивоположным — Риму, его традициям и ценностям. В результате учреждения нероний — мусических и спортивных игр, в которых должны были состязаться юноши из знатных римских семей, по мнению Тацита, «отчие нравы окончательно будут вытеснены распутством, завезенным из чужих краев, и Рим выродится, увлеченный чужеземными страстями» [10].

Эти пророчества отражали впечатления Тацита от Адриановой эпохи. В реальной жизни общества, окружавшего его в последние годы, «страсть к иноземию» не угрожала больше городу-государству извне, а упразднялась сама эта противоположность. Эллинизм Адриана, в отличие от эллинизма Нерона, не вторгался в исторически сложившуюся жизнь древнего Рима — он просто ликвидировал и эту жизнь, и этот Рим. Город от века жил по правовым нормам, выработанным некогда в пределах общины и для ее членов. Закон (lex) был неразрывно сопряжен со свободой римского гражданина, с его libertas. Эти нормы могли быть (и были) односторонними и антидемократическими, принцепсы I в. могли их систематически нарушать (и нарушали), но только Адриан просто убрал из них все, связанное с особенностями Рима, с его неповторимым прошлым, и влил их в систему общеимперского права, где все регулировалось едиными законами, а законы — благоусмотрением принцепса. Римом от века управляли магистраты — выборные, ежегодно сменяемые и подотчетные сенату, в принципе и в идеале всегда служившие государству, а не лицу. Адриан завершил создание нового аппарата управления империей, где главную роль играли чиновники, назначавшиеся императором на произвольный срок, получавшие от него жалованье и не мыслившие себе других форм ответственности.

Принцепсы I в. опирались на сенат. Он мог быть (и был) деморализован и сервилен, принцепсы могли с ним не считаться,— но не могли и не считаться, так как он воплощал те традиционно римские основы их власти, без которых они править еще не были в состоянии. Адриан фактически заменил сенат императорским советом, члены которого теперь стали получать жалованье. Могущество принцепсов всегда опиралось на легионы. На протяжении I в. они пополнялись римскими гражданами, и хотя звание это давно утратило свой изначальный смысл, оно связывало вооруженные силы — а тем

самым и власть — с определенными и на протяжении I в. еще глубоко содержательными историческими формами. По приказу Адриана в легионы стали принимать провинциальных жителей независимо от принадлежности их к римскому гражданству. Последняя нить, связывавшая армию с ополчением города Рима, оказалась порванной.

Процессы эти зарождались при Юлиях — Клавдиях в недрах новой имперской государственности; теперь они завершались у всех на глазах. Их смысл становился очевидным каждому, кто размышлял над судьбами Рима. «Адриан понял нежизнеспособность созданного Августом разделения власти,— очень точно подытожил описанные выше процессы историк нового времени.— ...Порвав с прошлым, он ввел новый принцип — участие всадничества в управлении империей, что привело к созданию твердых и стабильных форм власти. Ни о каком разделении ее отныне не могло быть и речи, ибо, по мысли Адриана, вся полнота ее принадлежала только принцепсу, и существование служилого сословия делало теперь императорское правление эффективным. Установление это имело, конечно, и оборотную сторону. Состоящий из императорских служащих аппарат управления должен был оказать разрушительное действие на одну из главных опор всей античности — свободу самоуправляющейся городской общины. Безудержное и бессовестное развитие чиновничьего аппарата означало конец самоуправления и автономии города-государства» [11]. Отношения Тацита с римским обществом Адриановой поры и обусловленная ими судьба «Анналов» связаны с объективным завершением истории римской гражданской общины, а не с аналогиями между Адрианом и Нероном или жестокостями нового императора — их бывало достаточно и раньше.

Фоном существования, предпосылкой любых размышлений о народе и его истории, любого нравственного чувства для Тацита была система ценностей римского города-государства, rei publicae Romanae. Вся критика римской ранней империи, вся трагедия общества, представленная в его книгах, были вызваны тем, что эта система разрушалась, что интересы государства и его традиционная общественная мораль разошлись. Но эта ситуация могла стать основой трагедии лишь потому, что нарушалась нерушимая норма, отделялись друг от друга силы, нераздельные по самой природе вещей. Рас-

сказ о распаде римской virtus, «гражданской доблести», был исполнен силы и глубины потому, что историк видел в ней концентрацию и воплощение безусловной, образующей фон всякого существования, непреложной реальности — римской гражданской общины. То же видела в «гражданской доблести» аудитория, к которой Тацит обращался, и исходившие от нее понимание и сочувствие наполняли его повествование энергией, укрепляли веру в историческую справедливость его взглядов и оценок. «Предсказываю — и предчувствие меня не обманывает,— что исторические сочинения твои будут бессмертны»,— писал ему один из современников [12]. «Гражданская доблесть» была соотносительна с «гражданской общиной» и вне последней немыслима: единство энергии гражданина и интересов государства — это и называлось virtus, и это же, под другим углом зрения, называлось res publica Romana. Поэтому, когда стерлась разница между Римом и миром и Рим не только в административно-политическом, а затем и в идеологическом отношении, но непосредственно, в повседневном сознании каждого растворился в космополитической империи, virtus перестала быть угрожаемой нормой, оскорбленным величием римской истории, предметом раздумий, страстей и надежд — она просто потеряла смысл, сошла на роль реликта, музейного экспоната, а вместе с ней — и вся духовная ситуация, выраженная в творчестве Тацита и его породившая.

Книги Тацита исполнены ненависти к описанным им императорам, так как каждый из них был «враждебным доблести». Но враждебным можно быть только по отношению к тому, что есть, что реально существует, и сама борьба вокруг virtus доказывала, что в годы, Тацитом описанные, она еще была жива. Сознание это было у историка столь же ясным, как и сознание ее постоянно углубляющегося распада. «Не до конца было лишено доблестей и наше время» [13]. Тацит писал о том, что единство человека и традиции распадалось на хищное своекорыстие и неподвижный консерватизм, но само хищничество «наглецов» и «доносчиков» было еще заряжено энергией, выражало еще особое содержание принципа развития в городе-государстве, а сам консерватизм еще был внутренне ориентирован на «нравы предков», и потому каждый из них, своей односторонностью разлагая virtus, был односторонне соотнесен с ней. Неразреши-

мость этого противоречия сообщала мрачный кровавый колорит описанной Тацитом эпохе, но постоянное сосуществование в ней сил «враждебных доблести» и «высокой и благородной доблести» доказывало, что противоречие, разрыв и борьба оставались живой и напряженной формой существования virtus, как, впрочем, всякой ценности и всякой истины. Конец эпохи Юлиев—Клавдиев и Флавиев означал конец того раскола римской жизни, над которым постоянно и напряженно думал Корнелий Тацит. Но преодоление этого раскола, ради которого он взялся за свой исторический труд, было мыслимо, как теперь выяснилось, лишь ценой упразднения всей исторической ситуации, породившей проблему, лишь за счет омертвения самой res publica Romana.

Некогда утратили для Тацита духовный смысл попытки утвердить «гражданскую доблесть» практическим служением принцепсам, теперь утратил смысл и рассказ о ней, сам ее образ, в слове явленный. Нельзя было не видеть, что следующему же поколению предстояло входить в жизнь с другим общественным опытом, с другими мыслями и заботами и что virtus Romana не долго будет кого-либо волновать.

Тацит был последним писателем завершившейся эпохи и должен был чувствовать то же, что чувствовали и другие «последние» — Цицерон при Цезаре или Боэций при Теодорихе: как кончается мир — единственный свой мир, как разрежается воздух, как нечем жить. «Мне горько, что на дорогу жизни вышел я слишком поздно и что ночь республики наступила прежде, чем я успел завершить свой путь» [14]. «О, как тупеет душа в бездне глубокой, как ослепленная мысль, света не видя, в мраке кромешном себе выхода ищет» [15]. Тут было не до интриг, не до личных выпадов или намеков. Положение это определялось все яснее по мере укрепления режима Адриана, и чем яснее оно определялось, тем меньше смысла имела для Тацита его работа над «Анналами», пока он, наконец, на словах, что «смерть медлит», не оставил ее совсем.

ПРИМЕЧАНИЯ

Глава первая

1 *Светоний.* Домициан, 22 (далее все ссылки на Светониевы биографии римских императоров даются по изданию: *Светоний.* Жизнеописания двенадцати цезарей. М., 1966).
2 *Светоний.* Веспасиан, 13.
3 *Ювенал.* Сатиры, IV, 115.
4 *Марциал.* Эпиграммы, XII, 57, 21.
5 *Quintiliani* Institutiones oratoriae, II, 5, 11.
6 *Элий Аристид.* Похвальное слово Риму, 59—60.
7 *Светоний.* Божественный Юлий, 77.
8 *Светоний.* Калигула, 29; ср. 32, 3.
9 *Светоний.* Нерон, 37, 3.
10 *Плиний Младший.* Панегирик Траяну, 65, 1.
11 Digestae, I, 5.
12 *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 21, с. 306.
13 *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 37, с. 277.
14 *Тацит.* История, IV, 10.
15 *Плиний Младший.* Письма, IX, 13, 4.
16 *Тацит.* История, IV, 43, 2.
17 Там же, I, 48, 4.
18 *Quintiliani* Institutiones oratoriae, XII, 10, 11; ср.: *Syme R.* Tacitus. Oxford, 1958, v. II, app. 26.
19 *Светоний.* Гальба, 14, 2.
20 Римское право не знало института государственных обвинителей, и роль эту брали на себя частные лица. Такая система давала возможность каждому, кто желал выделиться, возбуждать судебное дело против какого-либо известного лица. Если это был сенатор и обвинение считалось доказанным, обвинитель обычно получал четвертую часть имущества осужденного. Императоры, начиная с Тиберия, широко использовали эту особенность римского права для уничтожения своих противников. Спрос вызвал предложение: толпы жаждущих карьеры, денег и власти избирали этот путь, не останавливаясь подчас перед клеветой и лжесвидетельством.
21 *Тацит.* История, II, 31, 1; ср.: *Светоний.* Отон, 2—3; *Плутарх,* Гальба, 21.
22 *Тацит.* История, III, 41, 1.
23 Там же, II, 99, 2.
24 Там же, 95, 3.
25 Там же, IV, 8, 2.
26 *Тит Ливий.* Римская история от основания города, XXI, 53.
27 *Тацит.* Анналы, XII, 12, 1.
28 *Он же.* История, I, 18, 3.
29 *Он же.* Анналы, XVI, 22, 2.
30 *Персий.* Сатиры, III, 70—71.
31 *Тацит.* История, IV, 5, 1.
32 *L. Annaeus Seneca.* De vita beata, 7.
33 *Cassius Dio.* 59, 15.
34 *Плиний Младший.* Письма, III, 16, 9.
35 *Тацит.* Анналы, XVI, 25, 2.
36 *Он же.* История, I, 29, 2.
37 *Он же.* Анналы, XVI, 9, 2.

[38] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 26, ч. II, с. 587.
[39] *Цицерон.* О государстве, III, 34.
[40] Там же, V, 1, 1.
[41] Надпись из Анкиры в Малой Азии, называемая «Деяния божественного Августа», 1, 6, 8, 34.
[42] *Светоний.* Август, 53, 1.
[43] *Тацит.* Анналы, XII, 5, 2.
[44] *Он же.* История, IV, 3, 4.
[45] Там же, I, 16, 1.

Глава вторая

[1] *Pflaum H.-G.* Essai sur les procurateurs équestres sous le Haut-Empire Romain. Paris, 1950, p. 14.
[2] В надписи перечислено только восемь легионов.
[3] Имеется в виду Домициан, чье имя после его смерти было предано проклятию, и упоминать его в надписях было запрещено.
[4] В надписи имя Нерона было вырублено после осуждения его сенатом.
[5] Т. е. в 66 г. н. э.
[6] *Светоний.* Отон, 3, 2.
[7] Corpus Inscriptionum Latinarum (далее — CIL), V, 875.
[8] *Плиний Младший.* Письма, III, 5.
[9] *Писатели истории императорской. Элий Лампридий.* Жизнеописание Александра Севера, 15, 3.
[10] *Тацит.* История, IV, 74, 3.
[11] *Писатели истории императорской. Элий Спартиан.* Жизнеописание Адриана, 22, 11.
[12] *Тацит.* Анналы, XI. 24, 1.

Глава третья

[1] *G. Plinius Secundus.* Naturalis Historia, VII (16), 76.
[2] *Тацит.* Анналы, II, 16, 1.
[3] Там же, XII, 63, 2.
[4] *Тацит.* История, II, 56, 1.
[5] Там же, I, 63, 1.
[6] Там же, I, 66, 3.
[7] Там же, I, 64, 3.
[8] *Страбон.* География, 4, 3, 2.
[9] *Тацит.* Анналы, III, 44, 1.
[10] *Он же.* История, II, 18, 2.
[11] Там же, II, 94, 2.
[12] Там же, III, 35.
[13] Там же, I, 77.
[14] *Тацит.* Диалог об ораторах, 10, 3.
[15] *Он же.* История, I, 2, 1.
[16] Там же, IV, 58, 5.
[17] *Тацит.* Диалог об ораторах, 33, 4.
[18] Там же, 34, 1.
[19] В 29 г. до н. э. Август провел закон, согласно которому на первую сенатскую магистратуру — квестуру — могли избираться только лица, проведшие предварительно либо год в должности военного трибуна, т. е. офицера в легионе, либо год в одной из должностей, объединявшихся названием «вигинтивират»: помощников магистратов, ведавших судебными делами, ответственных за состояние дорог, арбитров в спорах о наследстве и т. п. Нормальным и для трибуната, и для вигинтивирата был возраст 20 лет.
[20] *Плиний Младший.* Письма, VII, 20.

Глава четвертая

[1] *Плиний Младший.* Письма, V, 14, 6.
[2] Inscriptiones Latinae Selectae/ Ed. H. Dessau, 2. Aufl. Berlin, 1954 (далее — ILS), N 1015.
[3] *Плиний Младший.* Письма, VI, 15. 3.
[4] Там же, VI, 15, 1.
[5] *Тацит.* Анналы, XI, 11, 1.
[6] *Плиний Младший.* Панегирик Траяну, 6, 1.
[7] *Chapot V.* La province romaine proconsulaire d'Asie. Paris, 1904, p. 288.
[8] *Тацит.* История, IV, 43, 2.

Глава пятая

1 *Плиний Младший.* Письма, IV, 13, 1.
2 *Диодор Сицилийский.* Историческая библиотека, V, 25.
3 *Apollinarius Sidonius.* Epistulae, II, 2.
4 *Тацит.* История, IV, 74, 4.
5 *Он же.* Жизнеописание Агриколы, 32, 1.
6 *Он же.* История, IV, 67, 2.
7 *Он же.* Жизнеописание Агриколы, 3, 1.
8 *Он же.* История, IV, 69, 3.
9 Там же, IV, 70, I.
10 *Тацит.* Анналы, III, 44, 2.
11 Там же, III, 43, 3.
12 Там же, I, 59, 6.
13 *Тацит.* История, IV, 64, 1.
14 *Он же.* Анналы, XIV, 31, 2.
15 Там же, XIV, 32, 2.
16 *Тацит.* История, IV, 65, 2.
17 *Он же.* Жизнеописание Агриколы, 30, 5.
18 *Он же.* Анналы, III, 40, 3.
19 *Он же.* История, IV, 64, 3.
20 *Он же.* Анналы, I, 1, 1.
21 *Он же.* История, IV, 73, 2.
22 Там же, IV, 58, 2.
23 Там же, IV, 17, 5.
24 *Тацит.* Анналы, III, 46, 4.
25 Там же, IV, 19, 4.
26 *Тацит.* Жизнеописание Агриколы, 41, 1.
27 *Он же.* Анналы, I, 59, 6.
28 Там же, II, 45, 3.
29 Там же, II, 88, 2.
30 Там же, III, 6, 3.
31 Там же, II, 82, 2. Речь идет о Друзе и Германике, убитых, как полагали в Риме, женой императора Августа Ливией — матерью Друза и бабкой Германика.
32 *Тацит.* Жизнеописание Агриколы, 2, 2.

Глава шестая

1 Здесь и в последующих главах, в которых анализируется одно произведение, ссылки на него делаются в тексте.
2 *Тацит.* Жизнеописание Агриколы, 3, 3.
3 Таковы, например, надписи сенаторов Лициния Суры или Глития Агриколы, прокуратора Миниция Итала. «Остальные надписи, составленные при Траяне, также обходят молчанием имя этого императора» (*Pflaum H.-G.* Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-Empire Romain. Thèse complémentaire, 1960, t. 1, p. 143).
4 Такова, например, эпитафия Росция Элиана, консула 100 г., скорее всего, ровесника Тацита, начинавшего служить, следовательно, как и наш историк, при Веспасиане или Тите. Имена первых Флавиев не фигурируют и в надписи Титиния Капитона — секретаря Домициана, а затем Нервы; его карьера, однако, началась еще при Нероне и, во всяком случае, продолжалась при всех Флавиях. В надписи уже знакомого нам Яволена Приска также не упоминаются ни Веспасиан, давший ему сенаторское звание, ни Тит, чьим судопроизводителем в Британии он был.
5 CIL, V, 5262.
6 *Тацит.* Жизнеописание Агриколы, 2, 3.
7 *Он же.* История, I, 10, 3; II, 37—38; 101, 1; III, 28 (ср. 9, 3 и 25); 69, 3; 75, 1; IV, 81, 3.
8 *Он же.* Анналы, I, 1, 3.
9 *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 20, с. 519.
10 *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 29, с. 317.
11 *Тацит.* Жизнеописание Агриколы, 42, 4.
12 *Он же.* Анналы, XVI, 11, 1.

Глава седьмая

1 Текст речи не сохранился. Возможность судить о ней дает изложение у Плиния

Старшего. См.: *G. Plinius Secundus*. Naturalis Historia, VII (43), 139.

2 *Полибий*. Всеобщая история, X, 26, 9.

3 *Cornelius Nepos*. Cato, III, 3.

4 *Цицерон*. Письма к близким, V, 12.

4a Наиболее известным биографическим сочинением этой поры являются «Параллельные жизнеописания» Плутарха. Они, однако, входят в греческую литературную традицию и стоят во многом вне анализируемой здесь проблематики. См. об этом: *Аверинцев С. С.* Плутарх и античная биография. М., 1973.

5 Термин и само понятие «остатка» предложены и обоснованы в кн.: *Гинзбург Л. Я.* О психологической прозе. Л., 1971, с. 171, 175 слл.

6 *Сенека*. Нравственные письма, I, 1; VII, 12; CXXIV, 24.

7 По указанным в скобках источникам удается установить авторство и названия следующих сочинений этого типа: Титаний Капитон. Гибель достославных мужей (*Плиний Младший*. Письма, VIII, 12); Гай Фанний. Гибель казненных и сосланных со времени Нерона (там же, V, 5); Геренний Сенецион. Жизнеописание Гельвидия Приска (*Cassius Dio*, 67, 13, 2; *Тацит*. Жизнеописание Агриколы, 2, 1; *Плиний Младший*. Письма, VII, 19, 5); Юний Арулен Рустик. Похвальное слово Пету Тразее (*Cassius* Dio, 67, 13, 2; *Светоний*. Домициан, 10); Публий Антей. О происхождении и жизни Остория Скапулы (*Тацит*. Анналы, XVI, 14).

8 *Тацит*. Анналы, XII, 31—39.

9 Здесь и далее малые произведения Тацита цитируются в переводе А. С. Бобовича (в кн.: *Корнелий Тацит*. Сочинения в двух томах. Л., 1969, т. 1).

Глава восьмая

1 *Плиний Младший*. Письма, II, 11, 17.

2 *Cicero*. In M. Antonium oratio philippica VI, 7, 19.

3 *Тацит*. Анналы, XV, 21, 1.

4 Там же, XI, 24, 2. Ср.: CIL, XIII, 1668.

5 Текст ее сохранился в надписи и изложен у Тацита — см. примеч. 4.

6 *Тацит*. История, II, 61; IV, 85; I, 68.

7 *Он же*. Анналы, XIV, 29 слл.

8 *Он же*. Германия, 33, 1.

9 *Klingner F.* Römische Geisteswelt. 4. Aufl. München, 1956, S. 470.

10 *Сенека*. Нравственные письма, XXXVI, 1.

11 *Тацит*. Жизнеописание Агриколы, 3, 1.

12 После появления капитальных исследований, составивших научный аппарат в кн.: *Tacitus*. Die Germania/Erläutert von R. Much, 3. Aufl. Heidelberg, 1967 (филологическая часть комментария написана В. Ланге, историко-археологическая — Г. Янкун).

13 *Jankuhn H.* Archäologische Bemerkungen zur Glaubwürdigkeit des Tacitus in der Germania.— Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. I. Philologisch-historische Klasse, 1966, № 10, S. 426.

Глава девятая

1 *Цицерон*. Брут (2), 6.

2 *Петроний*. Сатирикон, 2.

3 *Сенека*. Нравственные письма, CXIV, 1.

4 Не сохранилась.

5 О возвышенном/Рус. пер. Н. А. Чистяковой. М.; Л., 1966, с. 78—79.

6 *C. Vellei Paterculi* Ex historiae Romanae, I, 17, 6.

[7] *Сенека.* Нравственные письма, CXIV, 1.
[8] *Pauli — Wissowa.* Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft, s. v. Cornelius Tacitus.
[9] *Drexler H.* Tacitus, 1939, S. 8.
[10] *Плиний Младший.* Письма, I, 20, 14.
[11] Там же, I, 5, 15.
[12] Там же, VI, 2.
[13] Там же, II, 14, 3.
[14] На начало ее приходится лакуна в рукописи. Лакуна, по всему судя, невелика и не может изменить нашего представления о содержании книги, но из-за нее нельзя установить, кто произносит эту речь. Скорее всего, Юлий Секунд, дотоле не участвовавший в споре, хотя существуют и другие точки зрения.
[15] *Тацит.* История, IV, 8.
[16] *Плиний Младший.* Письма, I, 5.
[17] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 21, с. 276.
[18] *Тацит.* Анналы, III, 65, 1.
[19] *Он же.* История, 1, 1, 3. О значении этих слов см. выше, с. 106.

Глава десятая

[1] *Walker B.* The «Annals» of Tacitus. Manchester, 1952, p. 78.
[2] *Beaujeu J.* Le «mare rubrum» de Tacite' et le problème de la chronologie des «Annales».— Revue des Études Latines, 1960, vol. 38, p. 234.
[3] *Robin P.* L'Ironie chez Tacite. Lille, 1973, t. II, app. 110.
[4] *Тацит.* Жизнеописание Агриколы, 3, 1.
[5] *Он же.* Анналы, VI, 27, 4.
[6] Corpus Inscriptionum Graecarum, 520.
[7] *Тацит.* Анналы, XI, 13, 1.
[8] Там же, XV, 33, 2.
[9] Там же, XIV, 47, 2.
[10] Там же, XIV, 20, 4.
[11] *Schiller H.* Geschichte der römischen Kaiserzeit. Gotha, 1883, Bd. 1, S. 627—628.
[12] *Плиний Младший.* Письма, VII, 33, 1.
[13] *Тацит.* История, I, 3, 1.
[14] *Цицерон.* Брут, 330.
[15] *Боэций.* Утешение философией, I, 2, 1—3.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН *

* Составитель Н. Б. Журенко.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Георгий Степанович Кнабе

КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ

Время. Жизнь. Книги

Утверждено к печати
Редколлегией серии научно-популярных изданий
Академии наук СССР

Редактор издательства Ф. Н. Арский
Художник М. М. Бабенков
Художественный редактор Н. А. Фильчагина
Технический редактор Т. С. Жарикова
Корректоры Е. Н. Белоусова, Л. И. Левашова

ИБ № 22448

Сдано в набор 25.03.81
Подписано к печати 10.06.81
Т-10226. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$
Бумага типографская № 2
Гарнитура обыкновенная
Печать высокая
Усл. печ. л. 10,92. Усл. кр.-отт. 11,22. Уч.-изд. л. 12,0.
Тираж 200000 экз. 2-ой завод (100001—200000) Тип. зак. 1023
Цена 75 коп.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

75 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ КНИГА:

КИРОВА К. Э.
Жизнь Джузеппе Мадзини. 1805—1872. 10 л. 35 к.

Джузеппе Мадзини — одна из самых ярких и сложных, во многом противоречивых фигур в истории Италии XIX в. Его взгляды и поступки, достижения и неудачи наложили глубокий отпечаток на многие поколения итальянских патриотов.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»